

# МОНТЕНЬ

## ОПЫТЫ

Перевод с французского  
А.С. Бобовича,  
Ф.А. Коган-Бернштейн,  
Н.Я. Рыковой

Всемирное наследие

Мишель де Монтень

**Опыты**

«Издательство АСТ»

«ФТМ»

1580

УДК 1(091)(44)  
ББК 87.3(4Фра)

**де Монтень М. Э.**

Опыты / М. Э. де Монтень — «Издательство АСТ», «ФТМ»,  
1580 — (Всемирное наследие)

ISBN 978-5-17-116646-5

Мишель Монтень – знаменитый французский мыслитель XVI века. Как и многие философы Ренессанса он разработал собственную философскую концепцию с опорой на античное наследие. Главным литературным трудом его жизни стали «Опыты» – сборник литературно-философских эссе, где Монтень, выступая в роли тонкого наблюдателя, со свойственным ему юмором размышляет о самых важных вопросах бытия. Объектами исследования его пытливого ума становятся история и наука управления государством, отношения между людьми и природа человеческого духа. Свои размышления он подкрепляет остроумными замечаниями и занимательными примерами из собственного опыта. В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

УДК 1(091)(44)

ББК 87.3(4Фра)

ISBN 978-5-17-116646-5

© де Монтень М. Э., 1580

© Издательство АСТ, 1580

© ФТМ, 1580

## Содержание

К читателю	6
Книга первая	7
Глава II	7
Глава III	10
Глава VII	15
Глава VIII	17
Глава IX	18
Глава X	22
Глава XI	24
Глава XII	27
Глава XIII	29
Глава XV	30
Глава XVI	31
Глава XVII	32
Глава XVIII	35
Глава XIX	37
Глава XXI	39
Глава XXII	47
Глава XXIII	48
Глава XXVI	60
Конец ознакомительного фрагмента.	62

# **Мишель Монтень**

## **Опыты**

© А.С. Бобович, перевод, наследники, 2020

© Н.Я. Рыкова, перевод, наследники, 2020

© ООО «Издательство АСТ», 2020

## К читателю

Это искренняя книга, читатель. Она с самого начала предуведомляет тебя, что я не ставил себе никаких иных целей, кроме семейных и частных. Я нисколько не помышлял ни о твоей пользе, ни о своей славе. Силы мои недостаточны для подобной задачи. Назначение этой книги – доставить своеобразное удовольствие моей родне и друзьям: потеряв меня (а это произойдет в близком будущем), они смогут разыскать в ней кое-какие следы моего характера и моих мыслей и благодаря этому восполнить и оживить то представление, которое у них создалось обо мне. Если бы я писал эту книгу, чтобы снискать благоволение света, я бы принарядился и показал себя в полном параде. Но я хочу, чтобы меня видели в моем простом, естественном и обыденном виде, непринужденным и безыскусственным, ибо я рисую не кого-либо, а себя самого. Мои недостатки предстанут здесь как живые, и весь облик мой таким, каков он в действительности, насколько, разумеется, это совместимо с моим уважением к публике. Если бы я жил между тех племен, которые, как говорят, и посейчас еще наслаждаются сладостной свободой изначальных законов природы, уверяю тебя, читатель, я с величайшей охотой нарисовал бы себя во весь рост, и притом нагишом. Таким образом, содержание моей книги – я сам, а это отнюдь не причина, чтобы ты отдавал свой досуг предмету столь легковесному и ничтожному. Прощай же!

*Де Монтень*

*Первого марта тысяча пятьсот восьмидесятого года.*

## Книга первая

### Глава II О скорби

Я принадлежу к числу тех, кто наименее подвержен этому чувству. Я не люблю и не уважаю его, хотя весь мир, словно по уговору, окружает его исключительным почитанием. В его одеяние обряжают мудрость, добродетель, совесть – чудовищный и нелепый наряд! Итальянцы гораздо удачнее окрестили этим же словом коварство и злобу. Ведь это – чувство, всегда приносящее вред, всегда безрассудное, а также всегда малодушное и низменное. Стойки воспрепятствуют мудрецу предаваться ему.

Существует рассказ, что Псамменит, царь египетский, потерпев поражение и попав в плен к Камбизу, царю персидскому, увидел свою дочь, также ставшую пленницей, когда она, посланная за водой, проходила мимо него в одеждах рабыни. И хотя все друзья его, стоявшие тут же, плакали и громко стонали, сам он остался невозмутимо спокойным и, вперив глаза в землю, не промолвил ни слова; то же самообладание сохранил он и тогда, когда увидел, как его сына ведут на казнь. Заметив, однако, одного из своих приближенных в толпе прогоняемых мимо него пленных, он начал бить себя по голове и выражать крайнюю скорбь.

Это можно сопоставить с тем, что недавно произошло с одним из наших вельмож. Находясь в Триенте, он получил известие о кончине своего старшего брата, и притом того, кто был опорой и гордостью всего рода; спустя некоторое время ему сообщили о смерти младшего брата, бывшего также предметом его надежд. Выдержав оба эти удара с примерною твердостью, он по прошествии нескольких дней, когда умер один из его приближенных, был сломлен этим несчастьем и, утратив душевную твердость, предался горю и отчаянью, что подало некоторым основание думать, будто он был задет за живое лишь этим последним потрясением. В действительности, однако, это произошло оттого, что для скорби, которая заполняла и захлестывала его, достаточно было еще нескольких капель, чтобы прорвать преграды его терпения.

Подобным же образом можно было бы объяснить и рассказанную выше историю, не будь к ней добавления, в котором приводится ответ Псамменита Камбизу, пожелавшему узнать, почему, оставаясь безучастным к горькой доле сына и дочери, он принял столь близко к сердцу несчастье, постигшее одного из его друзей. «Оттого, – сказал Псамменит, – что лишь это последнее огорчение может излиться в слезах, тогда как для горя, которое причинили мне два первых удара, не существует способа выражения».

Здесь было бы чрезвычайно уместно напомнить о приеме того древнего живописца, который, стремясь изобразить скорбь присутствующих при заклании Ифигении сообразно тому, насколько каждого из них трогала гибель этой прелестной, ни в чем не повинной девушки, достиг в этом отношении предела возможностей своего мастерства; дойдя, однако, до отца девушки, он нарисовал его с закрытым лицом, как бы давая этим понять, что такую степень отчаянья выразить невозможно. Отсюда же проистекает и созданный поэтами вымысел, будто несчастная мать Ниобея, потеряв сначала семерых сыновей, а затем столько же дочерей и не выдержав стольких утрат, в конце концов превратилась в скалу —

*Diriguisse malis*<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Окаменела от горя (лат.). Овидий. *Метаморфозы*, VI, 303.

Они создали этот образ, чтобы передать то мрачное, немое и глухое оцепенение, которое овладевает нами, когда нас одолевают несчастья, превосходящие наши силы.

И действительно, чрезмерно сильное горе подавляет полностью нашу душу, стесняя свободу ее проявлений; нечто подобное случается с нами под свежим впечатлением какого-нибудь тягостного известия, когда мы ощущаем себя скованными, оцепеневшими, как бы парализованными в своих движениях, — а некоторое время спустя, разразившись наконец слезами и жалобами, мы ощущаем, как наша душа сбросила с себя путы, распрямилась и чувствует себя легче и свободнее.

Et via vix tandem voci laxata dolore est<sup>2</sup>.

Во время войны короля Фердинанда со вдовою венгерского короля Иоанна, в битве при Буде, немецкий военачальник Рейшах, увидев вынесенное из схватки тело какого-то всадника, сражавшегося на глазах у всех с отменной храбростью, пожалел о нем вместе со всеми; полюбопытствовав вместе с остальными, кто же все-таки этот всадник, он, после того как с убитого сняли доспехи, обнаружил, что это его собственный сын. И в то время как все вокруг него плакали, он один не промолвил ни слова, не проронил ни слезы; выпрямившись во весь рост, стоял он там с остановившимся, прикованным к мертвому телу взглядом, пока сила горя не оледенила в нем жизненных духов, и он, оцепенев, не пал замертво наземь.

Chi può dir com' egli arde, è in picciol fuoco<sup>3</sup>.

Говорят влюбленные, желая изобразить терзания страсти:

misero quod omnes  
Eripit sensus mihi. Nam simul te,  
Lesbia, aspexi, nihil est super mi  
Quod loquar amens.  
Lingua sed torpet, tenuis sub artus  
Flamma dimanat, sonitu suo pte  
Tinniunt aures, gemina teguntur  
Lumina nocte<sup>4</sup>.

Таким-то образом, в те мгновения, когда нас охватывает живая и жгучая страсть, мы не способны изливаться в жалобах или мольбах; наша душа отягощена глубокими мыслями, а тело подавлено и томится любовью.

Отсюда и рождается иной раз неожиданное изнеможение, так несвоевременно овладевающее влюбленными, та ледяная холодность, которая охватывает их по причине чрезмерной пылкости, в самый разгар наслаждений. Всякая страсть, которая оставляет место для смакования и размышления, не есть сильная страсть.

Curae leves loquuntur, ingentes stupent<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> И с трудом наконец горе открыло путь голосу (лат.). Энеида, IX, 151.

<sup>3</sup> Кто выражает свой пыл, тот горит слабым огнем (ит.). Петрарка. Сонет CXXXVII.

<sup>4</sup> Лишает меня, несчастного, всех чувств. Ведь едва тебя, Лесбия, увижу, уже не могу говорить, язык замирает, по суставам растекается нежное пламя, собственным звоном звенят уши и двойные светочи покрываются ночью (лат.). Катулл, LI, перевод из Сафо.

<sup>5</sup> Легкие печали гласят, большие немеют (лат.). Сенека. Федра. С. 607.



Нечаянная радость или удовольствие также ошеломляют нас.

Ut me conspexit venientem, et Troia circum  
Arma amens vidit, magnis exterrita monstis,  
Diriguit visu in medio, calor ossa reliquit,  
Labitur, et longo vix tandem tempore fatur<sup>6</sup>.

Кроме той римлянки, которая умерла от неожиданной радости, увидев сына, возвратившегося после поражения при Каннах, кроме Софокла и тирана Дионисия, скончавшихся также от радости, кроме, наконец, Тальвы, умершего на острове Корсике по прочтении письма, извещавшего о дарованных ему римским сенатом почестях, мы располагаем примером, относящимся и к нашему веку: так, папа Лев X, получив уведомление о взятии Милана, чего он так страстно желал, ощутил такой прилив радости, что заболел горячкой и вскоре умер. И чтобы привести еще более примечательное свидетельство человеческой суежности, укажем на один случай, отмеченный древними, а именно, что Диодор Диалектик умер во время ученого спора, так как испытал жгучий стыд перед своими учениками и окружающими, не сумев отразить выставленный против него аргумент.

Что до меня, то я не слишком подвержен подобным неистовствам страсти. Меня не так-то легко увлечь – такова уж моя природа; к тому же благодаря постоянному размышлению я с каждым днем все более черствую и закаляюсь.

---

<sup>6</sup> Едва заметила, как я подхожу, и в изумлении узрела вокруг троянское оружие, уstraшенная великим чудом обомлела, его созерцая, тепло покинуло ее кости, она падает и лишь спустя долгое время молвит (*лат.*). *Энеида*, III, 306 сл.

### Глава III

## Наши чувства устремляются за пределы нашего «я»

Те, которые вменяют людям в вину их всегдашнее влечение к будущему и учат хвататься за блага, даруемые нам настоящим, и ни о чем больше не помышлять, – ибо будущее еще менее в нашей власти, чем даже прошлое, – затрагивают одно из наиболее распространенных человеческих заблуждений, если только можно назвать заблуждением то, к чему толкает нас, дабы мы продолжали творить ее дело, сама природа; озабоченная в большей мере тем, чтобы мы были деятельны, чем чтобы владели истиной, она внушает нам среди многих других и эту обманчивую мечту. Мы никогда не бываем у себя дома, мы всегда пребываем где-то вонне. Опасения, желания, надежды влекут к будущему; они лишают нас способности воспринимать и понимать то, что есть, поглощая нас тем, что будет хотя бы даже тогда, когда нас самих больше не будет. *Calamitosus est animus futuri anxius.*<sup>7</sup>

Вот великая заповедь, которую часто приводит Платон: «Делай свое дело и познай самого себя». Каждая из обеих половин этой заповеди включает в себе и вторую половину ее и, таким образом, охватывает весь круг наших обязанностей. Всякий, кому предстоит делать дело, увидит, что прежде всего он должен познать, что он такое и на что он способен. Кто достаточно знает себя, тот не посчитает чужого дела своим, тот больше всего любит себя и печется о своем благе, тот отказывается от бесполезных занятий, бесплодных мыслей и неразрешимых задач. *Ut stultitia, etsi adepta est quod concupivit nunquam se tamen satis consecutam putat: sic sapientia semper eo contenta est quod adest, neque eam unquam sui poenitet*<sup>8</sup>.

Эпикур считает, что мудрец не должен предугадывать будущее и тревожиться о нем.

Среди правил, определяющих наше отношение к умершим, наиболее обоснованным, на мой взгляд, является то, которое предписывает обсуждать деяния государей после их смерти. Они – собратья законов, если только не их господа. И поскольку правосудие не имело власти над ними, справедливо, чтобы оно обрело ее над их добрым именем и наследственным достоинством их преемников: ведь и то и другое мы нередко ценим дороже жизни. Этот обычай приносит большую пользу народам, которые его соблюдают, а также крайне желателен для всякого доброго государя, имеющего основание жаловаться, что к его памяти относятся точно так же, как к памяти дурных государей. Мы обязаны повиноваться и покоряться всякому без исключения государю, так как он имеет на это бесспорное право; но уважать и любить мы должны лишь его добродетели. Так будем же ради порядка и спокойствия в государстве терпеливо сносить недостойных меж ними, будем скрывать их пороки, будем помогать своим одобрением даже самым незначительным их начинаниям, пока их власть нуждается в нашей поддержке. Но лишь только нашим взаимоотношениям с ними приходит конец, нет никаких оснований ограничивать права справедливости и свободу выражения наших истинных чувств, отнимая тем самым у добрых подданных славу верных и почтительных слуг государя, чьи недостатки были им так хорошо известны, и лишая потомство столь поучительного примера. И кто из чувства личной благодарности за какую-нибудь оказанную ему милость превозносит не заслуживающего похвалы государя, тот, воздавая ему справедливость в частном, делает это в ущерб общественной справедливости. Прав Тит Ливий, говоря, что язык людей, выросших под властью монарха, исполнен угодливости и суетного притворства; каждый расхваливает своего повелителя, каков бы он ни был, приписывая ему высшую степень доблести и царственного величия.

---

<sup>7</sup> Несчастлива душа, тревожащаяся о будущем (лат.). Сенека. *Письма*, 98, 6.

<sup>8</sup> Глупость, даже достигнув того, чего желала, никогда не сочтет, что приобрела достаточно, а мудрость довольствуется имеющимся, и ей свое не противно (лат.). Цицерон. *Тускуланские беседы*, V, 18.

Быть может, некоторые и осудят дерзкую отвагу тех двух воинов, которые не побоялись бросить Нерону в лицо все, что они о нем думали. Первый из них на вопрос Нерона, почему он желает ему зла, ответил: «Я был предан тебе и любил тебя, пока ты заслуживал этого; но после того как ты убил свою мать, как ты стал поджигателем, скоморохом, вознищею на ристалищах, я возненавидел тебя, ибо чего же другого ты стоишь?» Второй же, когда ему был задан Нероном вопрос, почему он замыслил его убить, сказал на это в ответ: «Потому, что я не видел другого способа пресечь твои бесконечные злодеяния». Но кто же в здравом уме вздумал бы осуждать те бесчисленные свидетельства о мерзких и чудовищных преступлениях этого императора, которые заклеили его после смерти и останутся на вечные времена?

Меня огорчает, что, при всей безупречности принятого у лакедемонян образа жизни, мы находим у них нижеследующий весьма лицемерный обряд: после смерти царя все союзники и соседи, все илоты, мужчины и женщины, собравшись беспорядочной толпой, раздирали себе в знак скорби лицо и громко стонали и плакали, возглашая, что покойный – каков бы он ни был на деле – был лучшим из их царей; таким образом, они воздавали сану умершего ту похвалу, которая принадлежит по праву только заслугам и должна воздаваться лишь тому, кто имеет совершенно исключительные заслуги, хотя бы он и принадлежал к самому низшему званию. Аристотель, который не упустил, кажется, ни одной вещи на свете, задается вопросом в связи со словами Солона, что никто прежде смерти не может быть назван счастливым: а можно ли назвать счастливым того, кто жил и умер как подобает, если он оставил по себе недобрую славу и если потомство его презренно? Пока мы движемся, мы устремляем наши заботы куда нам угодно, но лишь только мы оказываемся вне бытия, мы не поддерживаем больше общения с тем, что существует. И потому Солон был бы более прав, если б сказал, что человек никогда не бывает счастливым, раз он может быть счастлив лишь после того, как перестал существовать.

Quisquam  
Vix radicitus e vita se tollit, et elicit:  
Sed facit esse sui quiddam super inscius ipse...  
Nec removet satis a proiecto corpore sese, et  
Vindicat<sup>9</sup>.

Бертран Дю Геклен умер во время осады замка Ранкон, расположенного близ Пюи в Оверни. Осажденных, сдавшихся уже после его смерти, принудили возложить ключи крепости на тело покойного. Бартоломео д'Альвиано, начальствовавший над войсками венецианцев, скончался в Брешии, руководя там военными действиями. Чтобы доставить его тело в Венецию, надо было проследовать через земли враждебных веронцев. Большинство в войске венецианцев находило, что для этого следует испросить у веронцев пропуск. Теодоро Тривульцио, однако, воспротивился этому: он предпочел пробиться открытой силой, подвергнув себя случайностям битв. «Не подобает, – сказал он, – чтобы тот, кто при жизни никогда не боялся врагов, высказал после смерти страх перед ними».

Здесь будет кстати вспомнить о том, что, согласно обычаям греков, всякий, обращавшийся к врагу с просьбой выдать для погребения чье-либо тело, как бы отказывался тем самым от чести быть победителем и лишался, таким образом, права на то, чтобы воздвигнуть трофей. Победителями считались те, к кому обращались с подобною просьбой. Именно по этой причине Никий не мог воспользоваться тем преимуществом, которого он добился в войне с коринфянами, и, напротив, Агесилай закрепил за собой сомнительную победу над беотийцами.

<sup>9</sup> Едва ли кто вырвет себя с корнем из жизни и выбросит вон; не осознавая того, каждый старается, чтобы после него нечто осталось... не отделяет себя вполне от простертого трупa и не освобождается (*лат.*). Лукреций, III, 847 сл.

Эти обычаи могли бы казаться странными, если бы людям всегда и везде не было свойственно не только простирать заботы о себе за пределы своего земного существования, но, сверх того, также верить, что милости неба довольно часто следуют за нами в могилу и изливаются даже на наши останки. Сказанное можно подтвердить таким обилием примеров из древности, – не говоря уже о примерах из нашего времени, – что я не вижу нужды распространяться об этом. Эдуард I, король английский, удостоверившись во время продолжительных войн своих с шотландским королем Робертом, насколько его присутствие способствовало успеху в делах, – ибо всему, чем он лично руководил, неизменно сопутствовала победа, – умирая, связал своего сына торжественной клятвой, чтобы тот после его кончины выварил его тело и, отделив кости от мяса, предал погребению плоть; что до костей, то он завещал сыну хранить их и возить с собою и с войском всякий раз, когда ему случится драться с шотландцами, – словно судьба роковым образом привязала победу к его костяку.

Ян Жижка, возмущивший Богемию ради поддержки заблуждений Виклефа, высказал пожелание, чтобы с него после смерти была содрана кожа и чтобы эту кожу натянули на барабан, который будет созывать на битву с врагами; он полагал, что это поможет закрепить преимущества, достигнутые им в упорной борьбе. Равным образом, некоторые индейцы, отправляясь сражаться с испанцами, несли с собой кости одного из умерших вождей, памятуя о тех удачах, которые сопровождали его при жизни. Да и другие народы Нового Света берут на войну останки своих доблестных, погибших в сражениях воинов, дабы они служили им примером храбрости и залогом победы.

В первых наших примерах за умершими сохраняется только та слава, которую они приобрели своими былыми деяниями, тогда как последние приписывают им, сверх того, способность действовать и после их смерти. Гораздо прекраснее и возвышеннее поступок нашего полководца Баярда, который, почувствовав, что смертельно ранен выстрелом из аркебузы, на убеждения окружающих выйти из боя ответил, что не станет под конец жизни показывать врагу спину, и продолжал биться, пока его не покинули силы; чувствуя, что теряет сознание и что ему не удержаться в седле, он приказал своему слуге положить его у подножия дерева, но так, чтобы он мог умереть лицом к неприятелю; так он и скончался.

Мне кажется необходимым присоединить сюда также следующий пример, который в этом отношении еще примечательнее, чем предыдущие. Император Максимилиан, прадед ныне царствующего короля Филиппа, был государем, наделенным множеством достоинств и среди них – необыкновенною телесною красотою. Но наряду с этими качествами он обладал еще одним, вовсе не свойственным государям, которые, дабы поскорее разделаться с важнейшими государственными делами, превращают порою в трон свой стульчак: он не позволял видеть себя за нуждою никому, даже самому приближенному из своих слуг. Он всегда мочился в укромном месте и, будучи стыдлив, как девственница, не открывал ни перед врачами, ни перед кем бы то ни было тех частей тела, которые принято прикрывать. Что до меня, то, обладая языком, не ведающим ни в чем стеснения, я тем не менее также наделен от природы стыдливостью подобного рода. Если нет крайней необходимости и меня не толкает к этому любовное наслаждение, я никогда не позволяю себе нескромных поступков и не обнажаю ни перед кем того, что по обычаю должно быть прикрыто. Я страдаю скорее застенчивостью, и притом в большей мере, чем подобает, как я полагаю, мужчине, особенно же мужчине моего положения. Но император Максимилиан до такой степени был в плену у этого предрассудка, что особо оговорил в своем завещании, чтобы ему после кончины надели подштанники, и добавил в особом приписке, чтобы тому, кто это сделает с его трупом, завязали глаза. Если Кир завещал своим детям, чтобы ни они, ни кто другой ни разу не взглянули на его труп и не прикоснулись к нему, после того как душа его отлетит от тела, то я склонен искать объяснение этому в каком-нибудь религиозном веровании; ведь и его историк, и сам он, помимо прочих великих

достоинств, отличались еще и тем, что насаждали на протяжении всей своей жизни рвение и уважение к религиозным обрядам.

Мне очень не по душе нижеследующий рассказ, услышанный мною от некоего вельможи, об одном из моих свойственников, оставившем по себе память и на мирном и на военном поприще. Умирая в преклонном возрасте у себя дома и испытывая невыносимые боли, причиняемые каменной болезнью, он в последние часы своей жизни находил утешение в разработке мельчайших подробностей церемониала своих похорон, причем заставлял навещавших его придворных клясться ему, что они примут участие в похоронной процессии. Он обратился с настойчивой просьбой даже к самому королю, которого видел перед своей кончиной, чтобы тот велел своим приближенным прибыть на его погребение, подкрепляя свое ходатайство многочисленными соображениями и примерами, подтверждавшими, что человек его положения имеет на это бесспорное право; он скончался, по-видимому, успокоенный и довольный, так как успел добиться от короля столь желанного обещания и распорядиться по своему усмотрению устройством и церемониалом своих собственных похорон. Столь упорного и великого тщеславия я еще никогда не встречал.

А вот еще одна странность совершенно противоположного свойства, образчики которой также найдутся в моем роду; она представляется мне единокровной сестрой упомянутой выше. Эта странность также состоит в том, чтобы предаваться со страстью заботе о своей похоронной процессии, но проявлять при этом исключительную, совершенно не принятую в таких случаях, бережливость, ограничивая себя только одним слугою и одним фонарем. Я знаю, что многие хвалят подобную скромность и, в частности, одобряют последнюю волю Марка Эмилия Лепида, запретившего своим наследникам устраивать ему после смерти обычные церемонии. Неужели, однако, умеренность и воздержанность в том только и заключаются, чтобы избегать расточительности и излишества, когда они уже не могут более доставить нам пользу и удовольствие? Вот действительно легкий и недорогой способ самосовершенствования! Если бы требовалось перед смертью оставлять на этот счет распоряжения, то, полагаю, и здесь, как и во всяком житейском деле, каждый должен был бы считаться с возможностями своего кошелька. И философ Ликон поступил весьма мудро, наказав друзьям предать его тело земле там, где они сочтут наилучшим; что же касается похорон, то он завещал, чтобы они не были ни слишком пышными, ни слишком убогими. Лично я предоставляю обычаю установить распорядок похоронного обряда и охотно отдам свое мертвое тело на благоусмотрение тех, – кто бы это ни оказался, – кому придется взять на себя эту заботу: *Totus hic locus est contemnendus in nobis, non negligendus in nostris*<sup>10</sup>. И святая истина сказана одним из святых: *Curatio funeris, condicio sepulturae, pompa exsequiarum, magis sunt vivorum solatia, quam subsidia mortuorum*<sup>11</sup>. Вот почему, когда Критон спросил Сократа в последние мгновения его жизни, каким образом желает он быть погребенным, тот ответил ему: «Как вам будет угодно». Если бы я прости-  
рал заботы о своем будущем столь далеко, я счел бы более заманчивым для себя уподобиться тем, кто, продолжая жить и дышать, ублажает себя мыслями о церемониале своих похорон и о пышности погребальных обрядов и находит удовольствие видеть в мраморе свои безжизненные черты. Счастлив тот, кто умеет тешить и ублажать свои чувства тем, что бесчувственно, кто умеет жить своей собственной смертью.

Я проникаюсь ненавистью к народоправству, хотя этот образ правления и представляется мне наиболее естественным и справедливым, когда вспоминаю о бесчеловечном произволе афинян, беспощадно казнивших, не пожелав даже выслушать их оправданий, своих храбрых военачальников, только что выигравших у лакедемонян морское сражение при Аргинусских

<sup>10</sup> Следует пренебречь этими заботами, поскольку речь идет о нас, но не пренебрегать по отношению к близким (лет.). Августин. *О граде Божием*, I, 12.

<sup>11</sup> Заботы о похоронах, обустройство гробницы, пышность погребальной процессии – это скорее утешение для живых, нежели подспорье умершим (лат.). Цицерон. *Тускуланские беседы*, I, 45.

островах, самое значительное, самое ожесточенное среди всех, какие когда-либо давались греками на море. Их казнили только за то, что, одержав победу над неприятелем, они воспользовались предоставленными ею возможностями, а не задержались на месте, дабы собрать и предать погребению тела убитых сограждан. Особенно гнусною представляется мне эта расправа, когда я вспоминаю о Диомедоне, одном из осужденных на казнь, человеке замечательной воинской доблести и гражданских добродетелей. Выслушав обвинительный приговор, он вышел вперед, чтобы произнести речь, и, хотя ему впервые позволили беспрепятственно выступить перед народом, воспользовался ею не для самозащиты и не для того, чтобы показать очевидную несправедливость столь жестокого решения судей, но для того, чтобы проявить заботу об ожидающей этих судей судьбе; он обратился к богам с мольбою не карать их за приговор и, опасаясь, как бы боги не обрушили на них своего гнева за невыполнение тех обетов, которые были даны им и его товарищами, в ознаменование столь блистательного успеха, уведомил своих судей, в чем они состояли. Не сказав больше ни слова, ничего не оспаривая и ни о чем не прося, он мужественно, твердой походкой направился к месту казни. Через несколько лет, однако, судьба при сходных обстоятельствах отмстила афинянам. Хабрий, главнокомандующий афинского флота, одержав верх над Поллисом, возглавлявшим морские силы спартанцев, в сражении у острова Наксоса, упустил все преимущества этой бесспорной победы, столь существенной для афинян, только из опасения, как бы не подвергнуться столь же печальной участи, какая постигла его предшественников. И, чтобы не потерять в море несколько трупов своих убитых друзей, он позволил ускользнуть множеству живых и невредимых врагов, заставивших впоследствии дорогою ценою заплатить за этот нелепейший предрассудок.

Quaeris quo iaceas post obitum loco?  
Quo non nata iacent<sup>12</sup>.

Другой поэт также наделяет бездыханное тело ощущением ничем не нарушаемого покоя:

Neque sepulcrum, quo recipiatur, habeat portum corporis.  
Ubi, remissa humana vita, corpus requiescat a malis<sup>13</sup>.

<sup>12</sup> Ты спрашиваешь, где будешь лежать после смерти? Там, где еще не родившиеся (лат.). Сенека. *Троянки*, 407 сл.

<sup>13</sup> Пусть не найдет могилы, которая бы его приняла, пристанища для тела, где, по окончании человеческой жизни, тело отдохнуло бы от бед (лат.).

## **Глава VII**

### **О том, что наши намерения являются судьями наших поступков**

Говорят, что смерть освобождает нас от любых обязательств. Я знаю, что эти слова толковали по-разному. Генрих VII, король Англии, заключил соглашение с доном Филиппом, сыном императора Максимилиана, или – чтобы придать его имени еще больший блеск – отцом императора Карла V, в том, что вышеупомянутый Филипп передаст в его руки герцога Сеффолька, его врага из партии Белой Розы, бежавшего из пределов Англии и нашедшего убежище в Нидерландах, при условии, что он, Генрих, обязуется не посягать на жизнь этого герцога. Тем не менее, уже будучи на смертном одре, он велел своему сыну в оставленном им завещании немедленно после его кончины умертвить герцога Сеффолька. Недавняя трагедия в Брюсселе, которая была явлена нам герцогом Альбой и героями которой были несчастные графы Горн и Эгмонт, заключает в себе много такого, что заслуживает внимания. Так, например, граф Эгмонт, уговоривший своего товарища графа Горна отдаться в руки герцогу Альбе и уверивший его в безопасности этого шага, настойчиво домогался умереть первым; он хотел, чтобы смерть сняла с него обязательство, которым он связал себя по отношению к графу Горну. Но ясно, что в первом из рассказанных случаев смерть не освобождала от данного слова, тогда как во втором обязательство не имело никакой силы, даже если бы принявший его на себя и не умирал. Мы не можем отвечать за то, что сверх наших сил и возможностей. И поскольку последствия и даже самое выполнение обещания вне нашей власти, то распоряжаться, строго говоря, мы можем лишь своей волей: она-то и является неизбежно единственной основой и мерилom человеческого долга. Вот почему граф Эгмонт, и душою и разумом сохранявший верность данному им обещанию, хотя не имел никакой возможности его исполнить, без сомнения, был бы освобожден от своего обязательства, если бы даже и пережил графа Горна. Но бесчестность английского короля, намеренно нарушившего свое слово, никоим образом не может найти себе оправдание в том, что он отложил казнь герцога до своей смерти; равным образом нет оправдания и тому каменщику у Геродота, который, соблюдая с безупречною честностью в течение всей своей жизни тайну сокровищ египетского царя, своего владыки, умирая, открыл ее своим детям.

Я видел на своем веку немало таких людей, которые, хотя совесть и уличала их в том, что они утаивают чужое имущество, тем не менее легко мирились с этим, рассчитывая удовлетворить законных владельцев после своей кончины, путем завещания. Такой образ действий ни в коем случае нельзя оправдать: плохо и то, что они откладывают столь срочное дело, и то, что желают возместить причиненный ими убыток ценою столь малых усилий и столь мало поступаясь своей выгодой. Право, им надлежало бы поделиться тем, что им взаправду принадлежит. Чем тяжелее им было бы заплатить, чем больше трудностей пришлось бы в связи с этим преодолеть, тем справедливее было бы такое возмещение и тем больше было бы им заслуги. Раскаяние требует жертв.

Еще хуже поступают те, которые в течение всей своей жизни таят злобу к кому-нибудь из своих ближних, выражая ее лишь в последнем изъятии своей воли. Возбуждая в обиженном неприязнь к их памяти, они показывают тем самым, что мало пекутся о своей чести и еще меньше о совести, ибо не хотят угасить в себе злобного чувства хотя бы из уважения к смерти и оставляют его жить после себя. Они подобны тем несправедливым судьям, которые без конца откладывают свой приговор и выносят его лишь тогда, когда ими уже утрачено всякое представление о сути самого дела.

Если только мне это удастся, я постараюсь, чтобы смерть моя не сказала ничего такого, чего ранее не сказала моя жизнь.



## **Глава VIII**

### **О праздности**

Как пустующая земля, если она жирна и плодородна, зарастает тысячами видов сорных и бесполезных трав и, чтобы заставить ее служить в наших целях, необходимо сначала подвергнуть ее обработке и засеять определенными семенами; как женщины сами собою в состоянии производить лишь бесформенные груды и комки плоти, а для того, чтобы они могли породить здоровое и крепкое потомство, их необходимо снабдить семенем со стороны, – так же и с нашим умом. Если не занять его определенным предметом, который держал бы его в узде, он начинает метаться из стороны в сторону, то туда, то сюда, по бескрайним полям воображения:

Sicut aquae tremulum labris ubi lumen ahenis  
Sole repperit, aut radiantis imagine lunae  
Omnia pervolat late loca, iamque sub auras  
Erigitur, summique ferit laquearia tecti<sup>14</sup>.

И нет такого безумия, таких бредней, которых не породил бы наш ум, пребывая в таком возбуждении,

velut aegri somnia, vanae  
Finguntur species<sup>15</sup>.

Душа, не имеющая заранее установленной цели, обрекает себя на гибель, ибо, как говорится, кто везде, тот нигде:

Quisquis ubique habitat, Maxime, nusquam habitat<sup>16</sup>.

Уединившись с недавнего времени у себя дома, я проникся намерением не заниматься, насколько возможно, никакими делами и провести в уединении и покое то недолгое время, которое мне остается еще прожить. Мне показалось, что для моего ума нет и не может быть большего благоденствия, чем предоставить ему возможность в полной праздности вести беседу с самим собою, сосредоточиться и замкнуться в себе. Я надеялся, что теперь ему будет легче достигнуть этого, так как с годами он сделался более положительным, более зрелым. Но я нахожу, что

variam semper dant otia mentem<sup>17</sup>

и что, напротив, мой ум, словно вырвавшийся на волю конь, задает себе во сто раз больше работы, чем прежде, когда он делал ее для других. И действительно, ум мой порождает столько беспорядочно громоздящихся друг на друга, ничем не связанных химер и фантастических чудовищ, что, желая рассмотреть на досуге, насколько они причудливы и нелепы, я начал переносить их на бумагу, надеясь, что со временем, быть может, он сам себя устыдит.

---

<sup>14</sup> Как дрожащая поверхность воды в медном сосуде отражает солнце или образ сияющей луны и отблеск разлетается во все стороны, взлетает в воздух, касается резного потолка (лат.). *Энеида*, VIII, 22 сл.

<sup>15</sup> Создаются образы, бессмысленные, как сон больного (лат.). Гораций. *Наука поэзии*. 7 сл.

<sup>16</sup> Кто повсюду живет, Максим, тот нигде не живет (лат.). Марциал, VII, 73.

<sup>17</sup> Праздность приводит к изменчивости настроения (лат.). Лукан, IV, 704.

## Глава IX О лжецах

Нет человека, которому пристало бы меньше моего затевать разговоры о памяти. Ведь я не нахожу в себе ни малейших следов ее и не думаю, чтобы во всем мире существовала другая память столь же чудовищно немощная. Все остальные мои способности незначительны и вполне заурядны. Но в отношении этой я представляю собой нечто совсем исключительное и редкостное и потому заслуживаю, пожалуй, известности и громкого имени.

Не говоря уже о понятных каждому неудобствах, которые я претерпеваю от этого – ведь, принимая во внимание насущную необходимость памяти, Платон с достаточным основанием назвал ее великою и могущественною богинею, – в моих краях, если хотят сказать о том или ином *человеке*, что он совершенно лишен ума, то говорят, что он лишен памяти, и всякий раз как я принимаюсь сетовать на недостаток своей, меня начинают журить и разуверять, как если бы я утверждал, что безумен. Люди не видят различия между памятью и способностью мыслить, и это значительно ухудшает мое положение. Но они несправедливы ко мне, ибо на опыте установлено, что превосходная память весьма часто уживается с сомнительными умственными способностями. Они несправедливы еще и в другом отношении: ничто не удается мне так хорошо, как быть верным другом, а между тем на моем наречии неблагодарность обозначается тем же словом, которым именуют также мою болезнь. О силе моей привязанности судят по моей памяти; природный недостаток перерастает, таким образом, в нравственный. «Он забыл, – говорят в этих случаях, – исполнить такую-то мою просьбу и такое-то свое обещание. Он забывает своих друзей. Он не вспомнил, что из любви ко мне ему следовало сказать или сделать то-то и то-то и, напротив, умолчать о том-то и том-то». Я и в самом деле могу легко позабыть то-то и то-то, но сознательно пренебречь поручением, данным мне моим другом, – нет, такого со мной не бывает. Пусть они удовольствуются моею бедой и не превращают ее в своего рода коварство, которому так враждебна моя натура.

Кое в чем я все же вижу для себя утешение. Во-первых, в этом своем недостатке я нахожу существенную опору, борясь с другим, еще худшим, который легко мог бы развиться во мне, а именно с честолюбием, ибо последнее является непосильным бременем для того, кто устранился от жизни большого света. Далее, как подсказывают многочисленные примеры подобного рода из жизни природы, она щедро укрепила во мне другие способности в той же мере, в какой обездолила в отношении вышеназванной. В самом деле, ведь я мог бы усыпить и обессилить мой ум и мою проникаемость, идя проторенными путями, как это делает целый мир, не упражняя и не совершенствуя своих собственных сил, если бы, облагодетельствованный хорошою памятью, имел всегда перед собою чужие мнения и измышления чужого ума. Кроме того, я немногословен в беседе, ибо память располагает более вместительной кладовой, чем вымысел. Наконец, если бы память была у меня хорошая, я оглушал бы своей болтовнею друзей, так как припоминаемые мною предметы пробуждали бы заложенную во мне способность, худо ли хорошо ли, владеть и распоряжаться ими, поощряя тем самым и воспламеняя мои разглагольствования. А это – сущее бедствие. Я испытал его лично на деле, в общении с иными из числа моих близких друзей; по мере того как память воскрешает перед ними события или вещи со всеми подробностями и во всей их наглядности, они до такой степени замедляют ход своего рассказа, настолько загромождают его никому не нужными мелочами, что, если рассказ сам по себе хорош, они обязательно убьют его прелесть, если же плох, то вам только и остается, что проклинать либо выпавшее на их долю счастье, то есть хорошую память, либо, напротив, несчастье, то есть неумение мыслить. Право же, если кто разойдется, тому нелегко завершить свои разглагольствования или оборвать их на полуслове. А ведь нет лучшего способа узнать силу коня, как испытать его умение останавливаться сразу и плавно. Но даже среди дельных

людей мне известны такие, которые хотят, да не могут остановить свой разгон. И, силясь отыскать точку, где бы задержать наконец свой шаг, они продолжают тащиться, болтая и ковыляя, точно люди, изнемогающие от усталости. Особенно опасны тут старики, которые сохраняют память о былых делах, но не помнят о том, что уже много раз повторяли свои повествования. И я не раз наблюдал, как весьма занимательные рассказы становились в устах какого-нибудь почтенного старца на редкость скучными; ведь каждый из слушателей наслаждался ими по крайней мере добрую сотню раз. Во-вторых, я нахожу для себя утешение также и в том, что моя скверная память хранит в себе меньше воспоминаний об испытанных мною обидах; как говаривал один древний писатель, мне нужно было бы составить их список и хранить его при себе, следуя в этом примеру Дария, который, дабы не забывать оскорблений, нанесенных ему афинянами, велел своему слуге трижды возглашать всякий раз, как он будет садиться за стол: «Царь, помни об афинянах». Далее: местности, где я уже побывал прежде, или прочитанные ранее книги всегда радуют меня свежестью новизны.

Не без основания говорят, что кто не очень-то полагается на свою память, тому нелегко складно лгать. Мне хорошо известно, что грамматики устанавливают различие между выражениями: «говорить ложно» и «лгать». Они разъясняют, что «говорить ложно» это значит – говорить вещи, которые не соответствуют истине, но тем не менее воспринимаются говорящим как истинные, а также, что слово «лгать» по-латыни – а от латинского слова произошло и наше французское – означает почти то же самое, что «идти против собственной совести». Здесь, во всяком случае, я веду речь лишь о тех, которые говорят одно, а про себя знают другое. А это либо те, чьи слова, так сказать, чистейший вымысел, либо те, кто лишь отчасти скрывает и искажает истину. Но, слегка скрывая и искажая ее, они рано или поздно, если наводить их снова и снова на один и тот же сюжет, сами изобличат себя во лжи, так как немислимо, чтобы в их воображении не возникало всякий раз то представление о вещи, как она есть, которое первым отложилось в их памяти и затем прочно запечатлелось в ней, закрепившись в процессе познания, а затем и знания ее свойств; а это первоначальное представление понемногу вытесняет из памяти вымысел, который не может обладать такой же устойчивостью и прочностью, поскольку обстоятельства первого ознакомления с вещью, всплывая всякий раз снова в нашем уме, заслоняют воспоминание о привнесенном извне, ложном и извращенном. В тех же случаях, когда все сказанное людьми – сплошной вымысел и у них самих нет противоречащих этому вымыслу впечатлений, они, очевидно, имеют меньше оснований опасаться промаха. Однако и тут, раз их вымысел – призрак, нечто неуловимое, он так и стремится ускользнуть из их памяти, если она недостаточно цепкая.

Я не раз наблюдал случаи таких промахов, и, что всего забавнее, они приключались именно с теми, кто, можно сказать, сделал своею профессией строить свою речь так, чтобы она помогала в делах, а также была бы приятна влиятельным лицам, к которым обращена. Но раз обстоятельства, которым они готовы подчинить душу и совесть, подвержены бесчисленным изменениям, то и им приходится бесконечно разнообразить свои слова. А это приводит к тому, что ту же самую вещь они принуждены называть то серой, то желтой, и перед одним из своих собеседников утверждать одно, а перед другим – совершенно другое. Если те при случае сопоставят столь несходные между собой суждения, то во что превращается великолепное искусство этих говорунгов? А кроме того, и они сами, забывая об осторожности, изобличают себя во лжи, ибо какая же память способна вместить такое количество вымышленных, несхожих друг с другом образов одного и того же предмета? Я встречал многих моих современников, завидовавших славе, которою пользуются обладатели этой блистательной разновидности благоразумия. Они не замечают, однако, того, что слава славою, а толку от нее – никакого.

И действительно, лживость – гнуснейший порок. Только слово делает нас людьми, только слово дает нам возможность общаться между собой. И если бы мы сознавали всю мерзость и тяжесть упомянутого порока, то карали бы его сожжением на костре с большим основанием,

чем иное преступление. Я нахожу, что детей очень часто наказывают за сущие пустяки, можно сказать, ни за что; что их карают за проступки, совершенные по неведению и неразумию и не влекущие за собой никаких последствий. Одна только лживость и, пожалуй, в несколько меньшей мере упрямство кажутся мне теми из детских пороков, с зарождением и укоренением которых следует неуклонно и беспощадно бороться. Они возрастают вместе с людьми. И как только язык свернул на путь лжи, прямо удивительно, до чего трудно возвратить его к правде! От этого и происходит, что мы встречаем людей, в других отношениях вполне честных и добродетельных, но покоренных и поработанных этим пороком. У меня есть портной, вообще говоря, славный малый, но ни разу не слышал я от него хотя бы словечка правды, и притом даже тогда, когда она могла бы доставить ему только выгоду.

Если бы ложь, подобно истине, была одноликою, наше положение было бы значительно легче. Мы считали бы в таком случае достоверным противоположное тому, что говорит лжец. Но противоположность истине обладает сотней тысяч обличий и не имеет пределов.

Пифагорейцы считают, что благо определено и ограничено, тогда как зло неопределенно и неограниченно. Тысячи путей уводят от цели, и лишь один-единственный ведет к ней. И я вовсе не убежден, что даже ради предотвращения грозящей мне величайшей беды я мог бы заставить себя воспользоваться явной и беззастенчивой ложью.

Один из отцов церкви сказал, что мы чувствуем себя лучше в обществе знакомой собаки, чем с человеком, язык которого нам не знаком: *Ut externus alieno non sit hominis vice*<sup>18</sup>. Но насколько же лживый язык, как средство общения, хуже молчания!

Король Франциск I хвалился, как ловко он обвел вокруг пальца посла миланского герцога Франческо Сфорца – Франческо Таверну, человека весьма прославленного в искусстве заговаривать зубы своему собеседнику. Тот был послан ко двору вашего короля, чтобы принести его величеству извинения своего государя в связи с одним весьма важным, излагаемым ниже делом. Король, которого незадолго до того вытеснили из Италии и даже из Миланской области, желая располагать сведениями обо всем, что там происходит, придумал держать при особе миланского герцога одного дворянина, в действительности своего посла, но проживавшего под видом частного человека, приехавшего туда якобы по своим личным делам. И это было тем более необходимо, что герцог, завися больше от императора, чем от нас, а в то время особенно, так как сватался за его племянницу, дочь короля Дании, ныне вдовствующую герцогиню лотарингскую, не мог, не причиняя себе большого ущерба, открыто поддерживать с нами сношения и вступать в какие-либо переговоры. Лицом, подходящим для поддержания связи между обоими государями, и оказался некто Мервейль, королевский конюший и миланский дворянин. Этот последний, снабженный тайными верительными грамотами и инструкциями, которые вручаются обычно послам, а также, для отвода глаз и соблюдения тайны, рекомендательными письмами к герцогу, относившимися к личным делам этого дворянина, провел при миланском дворе столь долгое время, что вызвал неудовольствие императора, каковое обстоятельство, как мы предполагаем, и явилось истинною причиной всего происшедшего дальше. А случилось вот что: воспользовавшись как предлогом каким-то убийством, герцог приказал в два дня закончить судебное разбирательство и повелел в одну прекрасную ночь отрубить голову названному Мервейлю. И так как король, требуя удовлетворения, обратился по поводу этого дела с посланием ко всем христианским государям, в том числе и к самому миланскому герцогу, мессер Франческо, посол последнего, заготовил пространное и лживое изложение этой истории, которое и представил королю во время утреннего приема.

В нем он утверждал, стремясь обелить своего господина, что тот никогда не считал Мервейля никем иным, как частным лицом, миланским дворянином и своим подданным, прибывшим в Милан ради собственных дел и пребывавшим там исключительно в этих целях; далее,

<sup>18</sup> Иноземец чужаку не сойдет за человека (лат.). Плиний Старший. *Естественная история*, VII, 1.

он решительно отрицал, будто герцогу было известно о том, что Мервейль состоял на службе у короля Франциска и даже что этот последний знал его лично, вследствие чего у герцога не было решительно никаких оснований смотреть на Мервейля как на посла короля Франциска. Король, однако, тесня его, в свою очередь, различными вопросами и возражениями, подкапываясь под него различными способами и прижав наконец к стене, потребовал у посла объяснения, почему же в таком случае казнь была произведена ночью и как бы тайком. На этот последний вопрос бедняга, запутавшись окончательно и стремясь соблюсти учтивость, ответил, что герцог, глубоко почитая его величество, был бы весьма опечален, если бы подобная казнь была совершена днем. Нетрудно представить себе, что, допустив такой грубый промах, к тому же перед человеком с таким тонким нюхом, как король Франциск I, он был тут же пойман с поличным.

Папа Юлий II направил в свое время посла к английскому королю с поручением восстановить его против вышеназванного французского короля. После того как посол изложил все, что было ему поручено, английский король, отвечая ему, заговорил о трудностях, с которыми, по его мнению, сопряжена подготовка к войне со столь могущественной державой, как Франция, и привел в подкрепление своих слов несколько соображений. Посол весьма некстати заметил на это, что и он подумал обо всем этом и даже сообщил о своих сомнениях папе. Эти слова, очень плохо согласовавшиеся с целями посольства, состоявшими в том, чтобы побудить английского короля немедленно же начать войну, вызвали у этого последнего подозрение, впоследствии подтвердившееся на деле, что посол в душе был на стороне Франции. Он сообщил об этом папе; имущество посла было конфисковано, и сам он едва не поплатился жизнью.

## *Глава X*

### **О речи живой и о речи медлительной**

Не всем таланты все дарованы бывают.

Это относится, как мы можем убедиться, и к красноречию; одним свойственна легкость и живость в речах, и они, как говорится, за словом в карман не полезут, во всеоружии всегда и везде, тогда как другие, более тяжелые на подъем, напротив, не вымолвят ни единого слова, не обдумав предварительно своей речи и основательно не поработав над нею. И подобно тому как дамам советуют иногда, в каких играх и телесных упражнениях им лучше участвовать, чтобы выставить напоказ все, что в них есть самого привлекательного, так и я на вопрос, какой из этих двух видов красноречия, которым в наше время пользуются преимущественно проповедники и адвокаты, под стать первым и какой – вторым, я посоветовал бы человеку, говорящему медлительно, стать проповедником, а человеку, говорящему живо, адвокатом. Ведь обязанности первого предоставляют ему сколько угодно досуга для подготовки, а кроме того, его деятельность постоянно протекает в одном направлении, спокойно и ровно, в то время как обстоятельства, в которых живет и действует адвокат, в любое мгновение могут принудить его к поединку, причем неожиданные наскоки противника выбивают его подчас из седла, и ему тут же на месте приходится изыскивать новые приемы защиты.

Между тем при свидании папы Климента с королем Франциском, происходившем в Марселе, вышло как раз наоборот. Господин Пуайе, человек, всю жизнь выступавший в судах, можно сказать, там воспитавшийся и высоко там ценимый, получив поручение произнести приветственную речь папе, имел достаточно времени, чтобы хорошенько поразмыслить над нею и, как говорят, привез ее из Парижа в совершенно готовом виде. Но в тот самый день, когда эта речь должна была быть произнесена, папа, опасаясь, как бы в приветственном слове ему не сказали чего-нибудь такого, что могло бы задеть находившихся при нем послов других государей, уведомил короля о желательном и, по его мнению, соответствующем месту и времени содержании речи. К несчастью, однако, это было совсем не то, над чем трудился господин Пуайе, так что подготовленная им речь оказалась ненужною, и ему надлежало в кратчайший срок сочинить новую. Но так как он почувствовал себя неспособным к выполнению этой задачи, ее пришлось взять на себя господину кардиналу Дю Белле.

Труд адвоката сложнее труда проповедника, и все же мы встречаем, по-моему, больше сносных адвокатов, чем проповедников. Так по крайней мере обстоит дело во Франции.

Нашему остроумию, как кажется, более свойственны быстрота и внезапность, тогда как уму – основательность и медлительность. Но как тот, кто, не располагая досугом для подготовки, остается немым, так и тот, кто говорит одинаково хорошо, независимо от того, располагал ли он перед этим досугом, представляют собою крайности. О Севере Кассии рассказывают, что он говорил значительно лучше без предварительного обдумывания своей речи и что своими успехами он скорее обязан удаче, чем прилежанию. Рассказывают также, что ему шло на пользу, если его раздражали во время произнесения речи, и что противники остерегались задевать его за живое, опасаясь, как бы гнев не удвоил его красноречия. Я знаю, по личному опыту, людей с таким складом характера, с которым несовместима кропотливая и напряженная подготовка. Если у таких людей мысль в том или ином случае не течет легко и свободно, она становится не способною к чему-либо путному. Мы говорим об иных сочинениях, что от них несет маслом и лампой, так как огромный труд, который в них вложен авторами, сообщает им отпечаток шероховатости и неуклюжести. К тому же стремление сделать как можно лучше и напряженность души, чрезмерно скованной и поглощенной делом, искажают ее творение,

калечат, душат его, вроде того, как это происходит иногда с водой, которая будучи сжата и стеснена своим собственным напором и избытком, не находит для себя выхода из открытого, но слишком узкого для нее отверстия.

У людей с таким характером, о котором я здесь говорю, бывает иногда так: им вовсе не требуется толчков извне, пробуждающих бурные страсти, как, например, ярость Кассия, – такое волнение было бы для них слишком грубым; их натура нуждается не в возбуждении, а во вдохновении – в каких-либо особых впечатлениях, неожиданных и внезапных. Человек подобного душевного склада, предоставленный себе, бывает вял и бесплоден. Легкое волнение придает ему жизнь и пробуждает талант.

Я плохо умею управлять и распоряжаться собой. Случай имеет надо мной большую власть, чем я сам. Обстоятельства, общество, в котором я нахожусь, наконец, звучание моего голоса извлекают из моего ума больше, чем я мог бы обнаружить в себе, занимаясь самоисследованием или употребляя его на потребу себе самому.

Мои речи, вследствие этого, стоят больше, чем мои писания, если вообще допустимо выбирать между вещами, которые не имеют никакой ценности.

Со мной бывает и так, что я не нахожу себя там, где ищу, и вообще я чаще нахожу себя благодаря счастливой случайности, чем при помощи самоисследования. Допустим, что мне удалось выразить на бумаге нечто тонкое и остроумное (я очень хорошо понимаю, что для другого может быть плохо то, что для меня очень хорошо; оставим ложную скромность: каждый старается в меру своих способностей). И вдруг моя мысль настолько от меня ускользает, что я уже больше не знаю, что я хотел сказать; и случается, что сторонний человек понимает меня лучше, чем я сам. Если бы я пускал в ход бритву всякий раз, когда в этом является надобность, от меня бы ровно ничего не осталось. Но может настать такой час, когда забытое мною озарится светом более ясным, чем белый день, и тогда я буду только удивляться моей теперешней растерянности.

## Глава XI О предсказаниях

Относительно оракулов известно, что вера в них стала утрачиваться еще задолго до пришествия Иисуса Христа. Мы знаем, что Цицерон пытался установить причины постигшего их упадка: *Cur isto modo iam oracula Delphis non eduntur non modo nostra aetate sed iamdiu ut modo nihil possit esse contemptius?*<sup>19</sup> Но что касается других предсказаний: по костям и внутренностям приносимых в жертву животных, у которых, по мнению Платона, строение внутренних органов в известной мере приспособлено к этому, по тому, как роются в земле куры, по полету различных птиц, *aves quasdam rerum augurandarum causa natas esse putamus*<sup>20</sup>, по молнии, по извилинам рек, *multa cernunt aruspices, multa augures provident, multa oraculis declarantur, multa vaticinationibus, multa somniis, multa portentis*<sup>21</sup> и иным приметам, на которых древние по большей части основывали свои начинания, как государственные, так и частные, то наша религия упразднила их. Но все же и у нас сохраняются кое-какие способы заглядывать в будущее: при помощи звезд, духов, различных телесных признаков, снов и еще многого другого, что служит ясным свидетельством неудержимого любопытства нашей души, жаждущей заглянуть в будущее, точно ей не хватает забот в настоящем:

cur hans tibi rector Olympi  
Sollicitis visum mortalibus addere curam,  
Noscant venturas ut dira per omina clades,  
Sit subitum quodcunque paras, sit caeca futuri  
Mens hominum fati, liceat sperare timenti<sup>22</sup>.

*Ne utile quidem est scire, quid futurum sit. Miserum est enim nihil proficientem angere*<sup>23</sup>, и это действительно так, ибо наша душа бессильна перед обстоятельствами.

Вот почему случившееся с Франческо, маркизом Салуцким, показалось мне весьма примечательным. Командуя той армией короля Франциска, что находилась по ту сторону гор, бесконечно обласканный нашим двором, обязанный королю своим титулом и своими владениями, конфискованными у его брата и отданными маркизу, не имея, наконец, ни малейшего повода к измене своему государю, тем более что душа его противилась этому, он позволил запугать себя (как было выяснено впоследствии) предсказаниями об успехах, ожидающих в будущем императора Карла V, и о нашем неминуемом поражении. Об этих нелепых предсказаниях толковали повсюду, и они проникли также в Италию, где получили настолько широкое распространение, что, вследствие слухов о грозящем нам якобы разгроме, в Риме бились об заклад, что именно так и случится, ставя огромные суммы. Маркиз Салуцкий нередко с горестью говорил своим приближенным о несчастьях, неотвратимо нависших, по его мнению, над французской короной, а также о своих французских друзьях. В конце концов он поднял мятеж и переметнулся к врагу, что оказалось для него величайшим несчастьем, каково бы ни было расположение звезд.

<sup>19</sup> Почему из Дельф уже не исходят таким же образом оракулы и не только в наше время, но уже давно, так что они сделались всего презреннее? (*лат.*) Цицерон. *О гадании*, II, 57.

<sup>20</sup> Мы считаем некоторых птиц предназначенными для гадания (*лат.*). Цицерон. *О природе богов*, II, 64.

<sup>21</sup> Многие различают гаруспики, многие предвидят авгуры, многое возвещается оракулами, многое пророчествами, многое снами, многое знамениями (*лат.*). Там же, II, 65.

<sup>22</sup> Почему тебе, правитель Олимпа, угодно прибавлять эту заботу к тревогам смертных, чтобы они через грозные знамения узнавали о будущих несчастьях? Пусть внезапным будет то, что ты готовишь, пусть человеческий разум останется слеп к грядущей судьбе, позволь уstraшенному еще надеяться! (*лат.*) Лукан, II, 4 сл.

<sup>23</sup> Нет пользы знать, что будет. Ведь жалкая участь – терзаться, не в силах помочь (*лат.*). Цицерон. *О природе богов*, III, 6.



Но он вел себя при этом как человек, раздираемый противоположными побуждениями, ибо, имея в своих руках различные города и военную славу, находясь всего в двух шагах от неприятельских войск под начальством Антонио де Лейва, он мог бы, пользуясь нашим неведением о задуманной им измене, причинить значительно больше вреда. Ведь его предательство не стоило ни одной жизни, ни одного города, кроме Фоссано, да и то после долгой борьбы за него.

Prudens futuri temporis exitum  
Caliginosa nocte premit deus,  
Ridetque si mortalis ultra  
Fas trepidat.

.....  
Ille potens sui  
Laetusque deget, cui licet in diem  
Dixisse: Vixi. Cras vel atra  
Nube polum pater occupato  
Vel sole puro<sup>24</sup>.

Laetus in praesens animus, quod ultra est,  
Oderit curare<sup>25</sup>.

Напротив, глубоко заблуждается тот, кто согласен со следующими словами: *Ista sic recipiuntur, ut et, si divinatio sit, dii sint; et, si dii sint, sit divinatio*<sup>26</sup>. Гораздо разумнее говорит Пакувий:

Nam istis qui linguam avium intelligunt,  
Plusque ex alieno iecore sapiunt quam ex suo,  
Magis audiendum quam auscultandum censeo<sup>27</sup>.

Столь прославленное искусство тосканцев угадывать будущее возникло следующим образом. Один крестьянин, подняв лемехом своего плуга большой пласт земли, увидел, как из-под него вышел Тагет, полубог с лицом ребенка и мудростью старца. Сбежался народ. Речи Тагета и все его наставления по части гаданий собрали вместе и в течение долгих веков бережно сохраняли. Дальнейшее развитие этого искусства стоит его возникновения.

Что до меня, то я предпочел бы руководствоваться в своих делах скорее счетом очков брошенных мною игральные костей, чем подобными бреднями.

И действительно, во всех государствах с республиканским устройством на долю жребия выпадала немалая власть. В воображаемом государстве, созданном фантазией Платона, он предоставляет жребию решать многие важные вещи. Между прочим, он хочет, чтобы браки между добрыми гражданами заключались посредством жребия; этому случайному выбору он придает настолько большое значение, что только родившиеся от таких браков дети, по его мысли, должны воспитываться на родине, тогда как потомство от дурных граждан подлежит

<sup>24</sup> Бог благоразумно скрывает мраком ночи события будущего и смеется, если смертный трепещет сверх рока... Тот владеет собой и счастлив, кто может сегодня сказать: «Этот прожил. А завтра пусть Отец займет небо хоть черной тучей, хоть чистым солнцем» (лат.). Гораций. *Оды*, III, 29, 29 сл.

<sup>25</sup> Довольная настоящим душа ненавидит заботу о будущем (лат.). Гораций. *Оды*, II, 16, 25 сл.

<sup>26</sup> Так они связаны друг с другом: если существует гадание, должны быть и боги, а если существуют боги, должно быть гадание (лат.). Цицерон. *О гадании*, I, 6.

<sup>27</sup> Полагаю, что следует слушать, но не слушаться тех, кто понимает язык птиц и лучше разбирается в чужой печени, чем в своей (лат.). Пакувий – римский поэт (220–130 гг. до н. э.). Цитату приводит Цицерон. *О гадании*, I, 57.

изгнанию на чужбину. Впрочем, если кто-нибудь из изгнанников, выросши, обнаружит добрые нравы, то он может быть возвращен на родину; равным образом, кто из оставленных на родине, достигнув юношеского возраста, не оправдает надежд, тот может быть, в свою очередь, изгнан в чужие края.

Я знаю людей, которые изучают и толкуют на все лады свои альманахи, ища в них указаний, как им лучше в данном случае поступить. Но поскольку в таких альманахах можно найти все, что угодно, в них, очевидно, наряду с ложью должна содержаться и доля правды. *Quis est enim qui totum diem iaculans non aliquando conlineet?*<sup>28</sup> Я не придаю им сколько-нибудь большей цены от того, что вижу порою их правоту. Уж лучше бы они всегда лгали: тогда люди знали бы, что о них думать. Добавим, что никто не ведет счета их промахам, как бы часты и обычны они ни были; что же касается предсказаний, оказавшихся правильными, то им придают большое значение именно потому, что они редки и в силу этого кажутся нам чем-то непостижимым и изумительным. Вот как Диагор, по прозвищу Атеист, находясь в Самофракии, ответил тому, кто, показав ему в храме многочисленные дарственные приношения с изображением людей, спасшихся при кораблекрушении, обратился к нему с вопросом: «Ну вот, ты, который считаешь, что богам глубоко безразличны людские дела, что ты скажешь о стольких людях, спасенных милосердием?» «Пусть так, – ответил Диагор. – Но ведь тут нет изображений утонувших, а их несравненно больше». Цицерон говорит, что между всеми философами, разделявшими веру в богов, один Ксенофан Колофонский пытался бороться с предсказателями разного рода. Тем менее удивительно, что иные из наших властителей, как мы видим, все еще придают значение подобной нелепости, и нередко себе во вред.

Я хотел бы увидеть собственными глазами два таких чуда, как книгу Иоахима, аббата из Калабрии, предсказавшего всех будущих пап, их имена и их облик, и книгу императора Льва, предсказавшего византийских императоров и патриархов. Но собственными глазами я видел лишь вот что: во времена общественных бедствий люди, потрясенные своими невзгодами, отдаются во власть суеверий и пытаются выискать в небесных знамениях причину и предвестие обрушившихся на них несчастий. И так как мои современники обнаруживают в этом непостижимое искусство и ловкость, я пришел к убеждению, что, поскольку для умов острых и праздных это занятие не что иное, как развлечение, всякий, кто склонен к такого рода умствованиям, кто умеет повернуть их то в ту, то в другую сторону, может отыскать в любых писаниях все, чего бы он ни искал. Впрочем, главное условие успеха таких гадателей – это темный язык, двусмысленность и причудливость пророческих словес, в которые авторы этих книг не вложили определенного смысла с тем, чтобы потомство находило здесь все, чего бы ни пожелало.

«Демон» Сократа был, по-видимому, неким побуждением его воли, возникавшим помимо его сознания. Вполне вероятно, однако, что в душе, столь возвышенной, как у него, к тому же подготовленной постоянным упражнением в мудрости и добродетели, эти влечения, хотя бы смутные и неосознанные, были всегда разумными и достойными того, чтобы следовать им. Каждый в той или иной мере ощущал в себе подобного рода властные побуждения, возникавшие у него стремительно и внезапно. Я, который не очень-то доверяю благоразумию наших обдуманных решений, склонен высоко ценить такие побуждения. Нередко я и сам их испытывал; они сильно влекут к чему-нибудь или отвращают от какой-либо вещи, – последнее у Сократа бывало чаще. Я позволял этим побуждениям руководить собою, и это приводило к столь удачным и счастливым последствиям, что, право же, в них можно было бы усмотреть нечто вроде божественного внушения.

<sup>28</sup> Какой человек, целый день бросая дротик, не угодит в цель хотя бы один раз? (лат.) Цицерон. *О гадании*, II, 59.

## **Глава XII**

### **О стойкости**

Если кто-нибудь пользуется славой человека решительного и стойкого, то это вовсе не означает, что ему нельзя уклоняться, насколько возможно, от угрожающих ему бедствий и неприятностей, а следовательно, и опасаться, как бы они не постигали его. Напротив, все средства – при условии, что они не бесчестны, – способные оградить нас от бедствий и неприятностей, не только дозволены, но и заслуживают всяческой похвалы. Что до стойкости, то мы нуждаемся в ней, чтобы терпеливо сносить невзгоды, с которыми нет средств бороться. Ведь нет такой уловки или приема в пользовании оружием во время боя, которые мы сочли бы дурными, лишь бы они помогли отразить направленный на нас удар.

Многие весьма воинственные народы применяли внезапное бегство с поля сражения как одно из главнейших средств добиться победы над неприятелем, и они оборачивались к нему спиной с большей опасностью для него, чем если бы стояли к нему лицом.

Турки и сейчас еще знают толк в этом деле.

Сократ – у Платона – потешается над Лахетом, определявшим храбрость следующим образом: «Неколебимо стоять в строю перед лицом врага». «Как! – восклицает Сократ. – Разве было бы трусостью бить неприятеля, отступая пред ним?» И в подкрепление своих слов он ссылается на Гомера, восхваляющего Энея за умение искусно применять бегство. А после того как Лахет, подумав, должен был признать, что таков действительно обычай у скифов, да и вообще у всех конных воинов, Сократ привел ему в пример еще пехотинцев-лакедемонян, народ, столь привыкший стойко сражаться в пешем строю: в битве при Платеях, после безуспешных попыток прорвать фалангу персов, они решили рассыпаться и податься назад, чтобы, создав, таким образом, видимость бегства, разорвать и рассеять грозную массу персов, когда те бросятся преследовать их. Благодаря этой хитрости они добились победы.

Относительно скифов рассказывают, будто Дарий во время похода, предпринятого им с целью покорить этот народ, обрушился на их царя с жестокими упреками за то, что он непрерывно отступает пред ним и уклоняется от открытого боя. На что Индатирс – таково было имя царя – ответил, что отступает не из страха пред ним, ибо вообще не боится никого на свете, но потому, что таков обычай скифов на войне; ведь у них нет ни возделываемых полей, ни городов, ни домов, которые нужно было бы защищать, дабы враг ими не поживился. Однако, добавил он, если Дарию так уж не терпится сойтись с противником в открытом бою, пусть он приблизится к тем местам, где находятся могилы предков Индатирса: там он найдет, с кем померяться силами.

И все же, когда оказываешься мишенью для пушек, что нередко случается на войне, считается позорным бояться ядер, поскольку принято думать, что от них все равно не спастись вследствие их стремительности и мощи. И не раз бывало, что тот, кто при таких обстоятельствах поднимал руку или наклонял голову, вызывал по меньшей мере хохот товарищей.

Но вот что произошло однажды в Провансе во время похода императора Карла V против нас. Маркиз дель Гуасто, отправившись на разведку к городу Арлю и выйдя из-за ветряной мельницы, служившей ему прикрытием и позволившей приблизиться к городу, был замечен господами де Бонневалем и сенешалем Аженуа, которые прохаживались в амфитеатре арльского цирка. Последние указали на маркиза дель Гуасто господину де Вилье, начальнику артиллерии, и тот так метко навел кулеврину, что если бы названный выше маркиз, заметив, что по нему открыли огонь, не стал быстро на четвереньки, то, наверно, получил бы заряд в свое тело. Нечто подобное произошло за несколько лет перед тем и с Лоренцо Медичи, герцогом Урбинским, отцом королевы, матери нашего короля, во время осады Мондольфо, крепости в Италии, расположенной в области, называемой Викариатом: увидев, что уже поднесли фитиль

к направленной прямо на него пушке, он спасся лишь тем, что бросился на землю, нырнув, можно сказать, словно утка. Ибо иначе ядро, которое пронеслось почти над его головой, угодило бы, без сомнения, ему прямо в живот. Говоря по правде, я не думаю, чтобы такие движения производились нами обдуманно, ибо как можно составить себе суждение, высок ли прицел или низок, когда все совершается с такою внезапностью? И гораздо вернее будет предположить, что в описанных случаях этим людям благоприятствовала судьба и что, действуя в состоянии испуга подобным образом, можно с таким же успехом угодить под ядро, как и избежать его попадания.

Когда оглушительный треск аркебуз внезапно поражает мой слух, и притом в таком месте, где у меня не было никаких оснований этого ожидать, я не могу удержаться от дрожи; мне не раз доводилось видеть, как то же самое случалось и с другими людьми, которые похрабрее меня.

Даже стоикам и тем ясно, что душа мудреца, как они себе его представляют, не способна устоять перед внезапно обрушившимися на нее впечатлениями и образами и что этот мудрец отдает законную дань природе, когда бледнеет и съеживается, заслышав, к примеру, раскаты грома или грохот обвала. То же самое происходит, когда его охватывают страсти: лишь бы мысль сохраняла ясность и не нарушалась в своем течении, лишь бы разум, оставаясь непоколебимым и верным себе, не поддавался чувству страха или страдания. С теми, кто не принадлежит к числу мудрецов, дело обстоит точно так же, если иметь в виду первую часть сказанного, и совсем по-иному, если – вторую. Ибо у людей обычного склада действие страстей не остается поверхностным, но проникает в глубины их разума, заражая и отравляя его. Такой человек мыслит под прямым воздействием страстей и как бы повинуюсь им. Вот вам полное и верное изображение душевного состояния мудреца-стоика:

*Mens immota manet, lacrimae volvuntur inanes*<sup>29</sup>.

Мудрец в понимании перипатетиков не свободен от душевных потрясений, но он умеряет их.

---

<sup>29</sup> Дух непоколебим, понапрасну катятся слезы (лат.). *Энеида*, IV, 449.

## **Глава XIII**

### **Церемониал при встрече царствующих особ**

Нет предмета, сколь бы ничтожен он ни был, который оказался бы неуместным среди этой моей причудливой смеси. Согласно принятым у нас правилам, было бы большой неучтивостью даже по отношению к равному, а тем более к тому, кто занимает высокое положение в обществе, не быть дома, если он предупредил нас о своем прибытии. Больше того, королева Наваррская Маргарита добавляет по этому поводу, что со стороны дворянина невежливо выйти из дому, как это часто случается, навстречу тому, кто должен его посетить, сколь бы знатен последний ни был, но что гораздо почтительнее и учтивее ожидать его у себя, хотя бы из опасения разминуться с ним в пути, и что в таких случаях достаточно проводить его в предназначенные ему покои.

Что до меня, то я частенько забываю как о той, так и о другой из этих пустых обязанностей, поскольку стараюсь изгнать из моего дома всякие церемонии. Есть люди, которые иногда на это обижаются. Но что поделаешь! Лучше обидеть кого-нибудь один-единственный раз, чем постоянно терпеть самому обиду: это последнее было бы для меня нестерпимым гнетом. К чему бежать от придворного рабства, если заводишь его в своей собственной берлоге?

А вот еще одно правило, неуклонно соблюдаемое на собраниях всякого рода: оно гласит, что нижестоящим подобает являться первыми, тогда как лицам более видным приличествует, чтобы их дожидались. Однако же перед встречей папы Климента с королем Франциском, имевшую произойти в Марселе, король, отдав все необходимые распоряжения, удалился из этого города, предоставив папе в течение двух или трех дней устраиваться и отдыхать, и лишь после этого возвратился, чтобы встретиться с ним. Равным образом, когда тот же папа и император назначили встречу в Болонье, император предоставил папе возможность прибыть туда первым, сам же приехал несколько позже. При свиданиях царствующих особ руководствуются, как говорят люди знающие, следующим правилом: кто среди них самый могущественный, тому и полагается быть в назначенном месте прежде других и даже прежде того государя, в чьих владениях происходит встреча; считают, что эта уловка применяется ради того, чтобы таким способом создать видимость, будто низшие разыскивают высшего и домогаются встречи с ним, а не наоборот.

Не только в каждой стране, но и в каждом городе, и даже у каждого сословия есть свои особые правила вежливости. Я был достаточно хорошо воспитан в детстве и затем вращался в достаточно порядочном обществе, чтобы знать законы нашей французской учтивости; больше того, я в состоянии преподать их другим. Я люблю следовать им, однако не настолько покорно, чтобы они налагали путы на мою жизнь. Иные из них кажутся нам стеснительными, и если мы забываем их предумышленно, а не по невоспитанности, то это нисколько не умаляет нашей любезности. Я нередко встречал людей, которые оказывались неучтивыми именно вследствие того, что они были чересчур учтивы, и несносны вследствие того, что были чересчур вежливы.

А впрочем, умение держать себя с людьми – вещь очень полезная. Подобно любезности и красоте, оно облегчает нам доступ в общество и способствует установлению дружеских связей, открывая тем самым возможность учиться на примере других и вместе с тем подавать пример и выказывать себя с хорошей стороны, если только в нас действительно есть нечто достойное подражания и поучительное для окружающих.

## *Глава XV*

### **За бессмысленное упрямство в отстаивании крепости несут наказание**

Храбрости, как и другим добродетелям, положен известный предел, преступив который, начинаешь склоняться к пороку. Вот почему она может увлечь всякого, недостаточно хорошо знающего ее границы – а установить их с точностью действительно нелегко, – к безрассудству, упрямству и безумствам всякого рода. Это обстоятельство и породило обыкновение наказывать во время войны – иногда даже смертью – тех, кто упрямо отстаивает укрепленное место, удержать которое, по правилам военной науки, невозможно. Иначе не было бы такого курятника, который, в надежде на безнаказанность, не задерживал бы продвижение целей армии.

Господин коннетабль де Монморанси при осаде Павии получил приказание переправиться через Тичино и захватить предместье св. Антония; задержанный защитниками предмостной башни, оказавшими упорное сопротивление, он все же взял ее приступом и велел повесить всех оборонявшихся в ней. Так же поступил он и впоследствии, когда сопровождал дофина в походе по ту сторону гор; после того как замок Виллано был им захвачен и солдаты, озверев, перебили всех, кто находился внутри, за исключением коменданта и знаменосца, он велел, по той же причине, повесить и этих последних. Подобную же участь и в тех же краях испытал и капитан Бони, все люди которого были перебиты при взятии укрепления; так приказал Мартен Дю Белле, в ту пору губернатор Турина. Но поскольку судить о мощи или слабости укрепления можно, лишь сопоставив свои силы с силами осаждающих (ибо тот, кто достаточным основанием стал бы сопротивляться двум кулевринам, поступил бы как сумасшедший, если бы вздумал бороться против тридцати пушек), и так как здесь, кроме того, принимается обычно в расчет могущество вторгшегося государя, его репутация, уважение, которое ему должно оказывать, то существует опасность, что на весах его чаша всегда будет несколько перевешивать. А это, в свою очередь, приводит к тому, что такой государь начинает настолько мнить о себе и своем могуществе, что ему кажется просто нелепым, будто может существовать хоть кто-нибудь, достойный сопротивляться ему, и пока ему улыбается военное счастье, он предает мечу всякого, кто борется против него, как это видно хотя бы на примере тех свирепых, надменных и исполненных варварской грубости требований, которые были в обычае у восточных властителей да и ныне в ходу у их преемников.

Также и там, где португалцы впервые начали грабить Индию, они нашли государства, в которых господствовал общераспространенный и нерушимый закон, гласящий, что враг, побежденный войском, находящимся под начальством царя или его наместника, не подлежит выкупу и не может надеяться на пощаду.

Итак, пусть всякий, кто сможет, остерегается попасть в руки судьи, когда этот судья – победоносный и вооруженный до зубов враг.

## *Глава XVI*

### **О наказании за трусость**

Я слышал как-то от одного принца и весьма крупного полководца, что нельзя осуждать на смерть солдата за малодушие; это мнение было высказано им за столом, после того как ему рассказали о суде над господином де Вerveном, приговоренным к смерти за сдачу Булони.

И в самом деле, я нахожу вполне правильным, что проводят отчетливую границу между поступками, проистекающими от нашей слабости, и теми, которые порождены злонамеренностью. Совершая последние, мы сознательно восстаем против велений нашего разума, запечатленных в нас самую природою, тогда как, совершая первые, мы имели бы основание, думается мне, сослаться на ту же природу, которая создала нас столь немощными и несовершенными; вот почему весьма многие полагают, что нам можно вменять в вину только содеянное нами вопреки совести. На этом и основано в известной мере как мнение тех, кто осуждает смертную казнь для еретиков и неверующих, так и правило, согласно которому адвокат и судья не могут привлекаться к ответственности за промахи, допущенные по неведению при отправлении ими должности.

Что касается трусости, то, как известно, наиболее распространенный способ ее наказания – это всеобщее презрение и поношение. Считают, что подобное наказание ввел впервые в употребление законодатель Харонд и что до него всякого бежавшего с поля сражения греческие законы карали смертью; он же приказал вместо этого выставлять таких беглецов на три дня в женском платье на городской площади, надеясь, что это может послужить им на пользу и что бесчестие возвратит им мужество. *Suffundere malis hominis sanguinem quam effundere*<sup>30</sup>. Римские законы, по крайней мере в древнейшее время, также карали бежавших с поля сражения смертной казнью. Так, Аммиан Марцеллин рассказывает, что десять солдат, повернувшихся спиной к неприятелю во время нападения римлян на войско парфян, были лишены императором Юлианом военного звания и затем преданы смерти в соответствии с древним законом. Впрочем, в другой раз за такой же проступок он наказал виновных лишь тем, что поместил их среди пленных в обозе. Хотя римский народ и подверг суровой каре солдат, бежавших после битвы при Каннах, а также тех, кто во время той же войны был с Гнеем Фульвием при его поражении, тем не менее в этом случае дело не дошло до наказания смертью.

Есть, однако, основание опасаться, что позор не только повергает в отчаянье тех, кто наказан подобным образом, и не только доводит их до полнейшего равнодушия, но и превращает порой во врагов.

Во времена наших отцов господин де Франже, некогда заместитель главнокомандующего в войсках маршала Шатильона, назначенный маршалом де Шабанном на пост губернатора Фуэнтарабии вместо господина дю Люда и сдавший этот город испанцам, был приговорен к лишению дворянского звания, и как он сам, так и его потомство были объявлены простолюдинами, причислены к податному сословию и лишены права носить оружие. Этот суровый приговор был исполнен над ними в Лионе. В дальнейшем такому же наказанию были подвергнуты все дворяне, которые находились в городе Гизе, когда туда вступил граф Нассауский; с той поры то же претерпели и некоторые другие.

Как бы там ни было, всякий раз, когда мы наблюдаем столь грубые и явные, превосходящие всякую меру невежество или трусость, мы вправе прийти к заключению, что тут достаточно доказательств преступного умысла и злой воли, и наказывать их как таковые.

---

<sup>30</sup> Пусть лучше кровь приливает к щекам, чем проливается (*лат.*). Тертуллиан. *Апологетика*, IV.

## *Глава XVII*

### **Об образе действий некоторых послов**

Во время моих путешествий, стремясь почерпнуть из общения с другими что-нибудь для меня новое (а это – одна из лучших школ, какие только можно себе представить), я неизменно следую правилу, состоящему в том, чтобы наводить своего собеседника на разговор о таких предметах, в которых он лучше всего осведомлен.

Basti al nocchiero ragionar de'venti,  
Al bifolco dei tori, et le sue piaghe  
Conti'l guerrier, conti'l pastor gli armenti<sup>31</sup>.

Впрочем, чаще всего наблюдается обратное, ибо всякий охотнее рассуждает о чужом ремесле, нежели о своем собственном, надеясь прослыть, таким образом, знатоком еще в какой-нибудь области; так, например, Архидам упрекал Периандра в том, что тот пренебрег славою выдающегося врача, погнавшись за славою дурного поэта.

Поглядите, сколь многословным становится Цезарь, когда он описывает нам свои изобретения, относящиеся к постройке мостов или военных машин, и как, напротив, он краток и скуп на слова всюду, где рассказывает о своих обязанностях военачальника, о своей личной храбрости или о поведении своих воинов.

Его деяния и без того достаточно подтверждают, что он выдающийся полководец; ему хочется, однако, чтобы его знали и как превосходного военного инженера, а это нечто совсем уже новое. Не так давно некий ученый юрист, когда ему показали рабочий кабинет, где было множество книг, относящихся к его роду занятий, а также к другим отраслям знания, не обнаружил в нем ничего такого, о чем, по его мнению, стоило бы поговорить. А между тем он остановился, чтобы с ученым и важным видом потолковать по поводу заграждения на винтовой лестнице, что вела в эту комнату, хотя человек до ста офицеров и солдат ежедневно проходит мимо, не обращая на него никакого внимания.

Дионисий Старший был отличнейшим полководцем, как это и приличествовало его положению, но он стремился достигнуть славы преимущественно в поэзии, в которой решительно ничего не смыслил.

Optat ephippia bos piger, optat arare caballus<sup>32</sup>.

Но таким образом вы никогда не добьетесь чего-либо путного.

Итак, всякого, кем бы он ни был, – зодчий ли это, живописец, сапожник или кто-либо иной, – подобает неукоснительно возвращать к предмету его повседневных занятий. И по этому поводу замечу: читая сочинения по истории, – в каковом жанре упражнялись самые различные люди, – я усвоил обыкновение принимать в расчет, кем именно были писавшие: если это люди, не занимавшиеся ничем иным, кроме литературных трудов, я смотрю прежде всего на слог и язык; если врачи, я доверяю с большей охотой тому, что говорится ими о температуре воздуха, о здоровье и складе характера государей, о ранениях и болезнях; если юристы, то в первую очередь следует направить свое внимание на их рассуждения по вопросам права, о законах, о государственных учреждениях и прочих вещах такого же рода; если теологи – то

---

<sup>31</sup> Пусть кормчий рассуждает только о ветре, а земледелец – о быках; пусть воин рассказывает о ранах, а пастух – о стадах (ит.). Проперций, II, 1, 43–44, в итальянском переводе Стефано Гуаццо.

<sup>32</sup> Ленивый вол мечтает о скачках, а конь предпочел бы пахать (лат.). Гораций. *Послания*, I, 14, 43.



на дела церковные, отлучения от церкви, эпитимии, разрешения на вступления в брак; если придворные – на описание обычаев и церемоний; если военные – на то, что относится к их ремеслу, и главным образом на их повествования о походах и битвах, в которых они принимали участие; если послы – то на всевозможные хитрости, шпионаж, подкупы и на то, как все это проделывалось.

По этой причине я выделил и отметил в «Истории» сеньора де Ланже, человека в высшей степени сведущего в этих делах, много такого, мимо чего я прошел бы, будь автором кто-либо иной. Рассказав о весьма выразительных предупреждениях, сделанных императором Карлом V римской консистории в присутствии наших послов, епископа Маковского и господина дю Велли, к чему император добавил немало оскорбительных выражений, направленных против нас, и, среди прочего, то, что если бы его военачальники, солдаты и подданные были столь же преданы своему господину и столь искусны в военном деле, как те, которыми располагает король, то он тут же навязал бы себе на шею веревку и отправился бы смиренно молить о пощаде (он, по-видимому, и сам в некоторой степени верил, что так оно в действительности и есть, ибо и позже, в течение своей жизни, раза два или три повторял то же самое), а также сообщив о том, что он послал вызов нашему королю, предлагая ему поединок в лодке, в одних рубашках, на шпагах и на кинжалах, – вышеназванный сеньор де Ланже добавляет, что упомянутые послы, написав королю донесение, утаили от него большую часть слов императора и даже те оскорбления, о которых было рассказано выше. Я нахожу весьма странным, как это посол позволил себе решать, о чем докладывать своему государю, а что скрыть от него, тем более что дело было чревато такими последствиями, что эти слова исходили от такого лица и были произнесены на столь многочисленном собрании. Мне кажется, что обязанность подчиненного – точно и правдиво, со всеми подробностями, излагать события, как они были, дабы господин располагал полной свободой отдавать приказания, оценивать положение и выбирать. Ибо исказить или утаивать истину из опасения, как бы он не принял ее неподобающим образом и как бы это не толкнуло его к какому-нибудь неправильному решению, и из-за этого оставлять его неосведомленным о действительном положении дел – подобное право, как я полагаю, принадлежит тем, кто предписывает законы, а не тем, для кого они предназначены, принадлежит руководителю и наставнику, но вовсе не тому, кто должен почитать себя низшим, и притом не только по своему положению, но и по опытности и мудрости. Как бы там ни было, я отнюдь не хотел бы, чтобы мне, при всей ничтожности моей особы, служили вышеописанным образом.

Мы стремимся, пользуясь любыми предложениями, выйти из подчинения и присвоить себе право распоряжаться; всякий из нас – и это вполне естественно – домогается свободы и власти; вот почему для вышестоящего не должно быть и в подчиненном ничего более ценного, чем простодушное и бесхитростное повиновение.

Если повиновение оказывают не беспрекословно, но сохраняя за собой известную независимость, то это большая помеха для отдающего приказание. Публий Красс, тот самый, которого римляне считали пятикратно счастливым, пребывая во время своего консульства в Азии, велел одному инженеру-греку доставить к нему большую из двух корабельных мачт, которые он видел при посещении им Афин, дабы соорудить из нее задуманную им метательную машину; грек же, основываясь на своих знаниях, позволил себе нарушить приказ и привез ту из мачт, которая была меньше, но вместе с тем, как подсказывал ему опыт, и более пригодной для указанной цели. Красс, терпеливо выслушав его доводы, велел все же подвергнуть его бичеванию, считая, что дисциплина прежде всего, даже если это ведет к ущербу для дела.

С другой стороны, нелишне отметить, что безусловное повиновение полезно лишь при наличии точного и определенного приказания. Обязанности послов допускают больше свободы в действиях, ибо в ряде случаев принимать решения приходится им самим: ведь они не только исполнители воли своего государя, они также подготавливают ее и направляют своими

совета́ми. На своем веку я видел немало высокопоставленных лиц, которых упрекали за слепое подчинение букве королевских распоряжений и неумение учитывать обстоятельства дела.

Люди сведущие порицают еще и теперь обыкновение персидских властителей предоставлять своим наместникам и доверенным лицам настолько куцые полномочия, что тем приходилось из-за любой мелочи испрашивать дополнительно указания. Подобное промедление, принимая во внимание огромные пространства персидского царства, нередко вредило, и весьма основательно, их делам.

И если Красс в письме к человеку, опытному в своем ремесле, указал на употребление, которое он намерен дать мачте, то не означало ли это, что он вступал с ним в обсуждение своего замысла и дал ему право выполнить приказание с теми или иными поправками?

## Глава XVIII

### О страхе

Obstupui, steteruntque comae, et vox faucibus haesit<sup>33</sup>.

Я отнюдь не являюсь хорошим натуралистом (как принято выражаться), и мне не известно, посредством каких пружин на нас воздействует страх; но, как бы там ни было, это – страсть воистину поразительная, и врачи говорят, что нет другой, которая выбивала бы наш рассудок из положенной ему колеи в большей мере, чем эта. И впрямь, я наблюдал немало людей, становившихся невменяемыми под влиянием страха; впрочем, даже у наиболее уравновешенных страх, пока длится его приступ, может порождать ужасное ослепление. Я не говорю уже о людях невежественных и темных, которые видят со страху то своих вышедших из могил и завернутых в саваны предков, то оборотней, то домовых или еще каких чудищ. Но даже солдаты, которые, казалось бы, должны меньше других поддаваться страху, не раз принимали, ослепленные им, стадо овец за эскадрон закованных в броню всадников, камыши и тростник за латников и копейщиков, наших товарищей по оружию за врагов и крест белого цвета за красный.

Случилось, что, когда принц Бурбонский брал Рим, одного знаменщика, стоявшего на часах около замка св. Ангела, охватил при первом же сигнале тревоги такой ужас, что он бросился через пролом, со знаменем в руке, вон из города, прямо на неприятеля, убежденный, что направляется в город, к своим; и только увидев солдат принца Бурбонского, двинувшихся ему навстречу, – ибо они подумали, что это вылазка, предпринятая осажденными, – он, наконец опомнившись, повернул вспять и возвратился в город через тот же пролом, через который вышел только затем, чтобы пройти свыше трехсот шагов в сторону неприятеля по совершенно открытому месту. Далеко не так счастливо окончилось дело со знаменщиком Жюля. Когда начался штурм Сен-Поля, взятого тогда у нас графом де Бюром и господином дю Рю, этот знаменщик настолько потерялся от страха, что бросился вон из города вместе со своим знаменем через пролом и был изрублен шедшими на приступ неприятельскими солдатами. Во время той же осады произошел памятный для всех случай, когда сердце одного дворянина охватило, сжал и оледенило такой ужас, что он упал замертво у пролома, не имея на себе даже царапины.

Подобный страх овладевает иногда множеством людей. Во время одного из походов Германика против германцев два значительных отряда римлян, охваченных ужасом, бросились бежать в двух различных направлениях, причем один из них устремился как раз туда, откуда уходил другой.

Страх то окрыляет нас пятки, как в двух предыдущих примерах, то, напротив, пригвождает и сковывает нам ноги, как можно прочесть об императоре Феофиле, который, потерпев поражение в битве с агарянами, впал в такое безразличие и такое оцепенение, что не был в силах даже бежать: *adeo, pavor etiam auxilia formidat*<sup>34</sup>. Кончилось тем, что Мануил, один из главных его военачальников, схватив его за плечо и встряхнув, как делают, чтобы пробудить человека от глубокого сна, обратился к нему с такими словами: «Если ты не последуешь сейчас за мною, я предам тебя смерти, ибо лучше расстаться с жизнью, чем, потеряв царство, сделаться пленником».

Крайняя степень страха выражается в том, что, поддаваясь ему, мы даже проникаемся той самой храбростью, которой он нас лишил в минуту, когда требовалось исполнить свой

<sup>33</sup> Я оцепенел, волосы встали дыбом, и голос замер в гортани (лат.). *Энеида*, II, 774.

<sup>34</sup> В страхе даже подмога кажется угрозой (лат.). Квинт Курций, III, 11.

долг и защитить свою честь. При первом крупном поражении римлян во время войны с Ганнибалом – в этот раз командовал ими консул Семпроний – один римский отряд численностью до десяти тысяч пехоты, оказавшись во власти страха и не видя, в своем малодушии, иного пути спасения, бросился напролом, в самую гущу врагов, и пробился сквозь них с вызывающей изумление дерзостью, нанеся тяжелый урон карфагенянам. Таким образом, он купил себе возможность позорно бежать за ту самую цену, которую мог бы купить блистательную победу. Вот чего я страшусь больше самого страха.

Вообще же страх ощущается нами с большею остротой, нежели остальные напасти.

Многих из тех, кого помяли в какой-нибудь схватке, израненных и еще окровавленных, назавтра можно снова повести в бой, но тех, кто познал, что представляет собой страх перед врагом, тех вы не сможете заставить хотя бы взглянуть на него. Все, кого постоянно снедает страх утратить имущество, подвергнуться изгнанию, впасть в зависимость, живут в постоянной тревоге; они теряют сон, перестают есть и пить, тогда как бедняки, изгнанники и рабы зачастую живут столь же беспечно, как все прочие люди. А сколько было таких, которые из боязни перед муками страха повесились, утопились или бросились в пропасть, убеждая нас воочию в том, что он еще более несносен и нестерпим, чем сама смерть.

Греки различали особый вид страха, который ни в какой степени не зависит от несовершенства наших мыслительных способностей. Такой страх, по их мнению, возникает без всяких видимых оснований и является внушением неба. Он охватывает порою целый народ, целые армии. Таким был и тот приступ страха, который причинил в Карфагене невероятные бедствия. Во всем городе слышались лишь дикие вопли, лишь смятенные голоса. Всюду можно было увидеть, как горожане выскакивали из домов, словно по сигналу тревоги, как они набрасывались один на другого, ранили и убивали друг друга, будто это были враги, вторгшиеся, чтобы захватить город. Смятение и неистовства продолжались до тех пор, пока молитвами и жертвоприношениями они не смирили гнева богов.

Такой страх греки называли паническим.

## *Глава XIX*

### **О том, что нельзя судить, счастлив ли кто-нибудь, пока он не умер**

Scilicet ultima semper  
Exspectanda dies homini est, dicique beatus  
Ante obitum nemo, supremaque funera debet<sup>35</sup>.

Всякому ребенку известен на этот счет рассказ о царе Крезе: захваченный в плен Киром и осужденный на смерть, перед самой казнью он воскликнул: «О, Солон, Солон!» Когда об этом было доложено Киру и тот спросил, что это значит, Крез ответил, что он убедился на своей шкуре в справедливости предупреждения, услышанного им некогда от Солона, что, как бы приветливо ни улыбалось кому-либо счастье, мы не должны называть такого человека счастливым, пока не минет последний день его жизни, ибо шаткость и изменчивость судеб человеческих таковы, что достаточно какого-нибудь ничтожнейшего толчка, – и все тут же меняется. Вот почему и Агесилай сказал кому-то, утверждавшему, что царь персидский – счастливец, ибо, будучи совсем молодым, владеет столь могущественным престолом: «И Приам в таком возрасте не был несчастлив». Царей Македонии, преемников великого Александра, мы видим в Риме писцами и столярами, тиранов Сицилии – школьными учителями в Коринфе. Покоритель полумира, начальствовавший над столькими армиями, превращается в смиренного просителя, унижающегося перед презренными слугами владыки Египта; вот чего стоило прославленному Помпею продление его жизни еще на каких-нибудь пять-шесть месяцев. А разве на памяти наших отцов не угасал, томясь в заключении в замке Лош, Лодовико Сфорца, десятый герцог Миланский, перед которым долгие годы трепетала Италия? И самое худшее в его участии то, что он провел там целых десять лет. А разве не погибла от руки палача прекраснейшая из королев, вдова самого могущественного в христианском мире государя? Такие примеры исчисляются тысячами. И можно подумать, что подобно тому как грозы и бури небесные ополчаются против гордыни и высокомерия наших чертогов, равным образом там, наверху, существуют духи, питающие зависть к величию некоторых обитателей земли:

Usque adeo res humanas vis abdita quaedam  
Obterit, et pulchros fasces saevasque secures  
Proculcare, ac ludibrio sibi habere videtur<sup>36</sup>.

Можно подумать также, что судьба намеренно подстерегает порою последний день нашей жизни, чтобы явить пред нами всю свою мощь и в мгновение ока извергнуть все то, что воздвигалось ею самыми годами; и это заставляет нас воскликнуть, подобно Лаберию: *Nimirum hac die una plus vixi, mihi quam vivendum fuit*<sup>37</sup>.

Таким образом, у нас есть все основания прислушиваться к благому совету Солона. Но, поскольку этот философ полагал, что милости или удары судьбы еще не составляют счастья или несчастья, а высокое положение или могущество считал маловажными случайностями, я

---

<sup>35</sup> Человеку всегда нужно дождаться последнего дня, и никого нельзя назвать счастливым до кончины и погребения (лат.). Овидий. *Метаморфозы*, III, 135 сл.

<sup>36</sup> Некая скрытая сила рушит дела людские и забавляется, попирая великолепные фасции и грозные секиры (лат.). Лукреций, V, 1233 сл.

<sup>37</sup> Ясно, что я прожил на один день дольше, чем следовало (лат.). Макробий. *Сатурналии*, II, 7, 3, 14–15.

нахожу, что он смотрел глубже и хотел своими словами сказать, что не следует считать человека счастливым, – разумея под счастьем спокойствие и удовлетворенность благородного духа, а также твердость и уверенность умеющей управлять собою души, – пока нам не доведется увидеть, как он разыграл последний и, несомненно, наиболее трудный акт той пьесы, которая выпала на его долю. Во всем прочем возможна личина. Наши превосходные философские рассуждения сплошь и рядом не более, как заученный урок, и всякие житейские неприятности очень часто, не задевая нас за живое, оставляют нам возможность сохранять на лице полнейшее спокойствие. Но в этой последней схватке между смертью и нами нет больше места притворству; приходится говорить начистоту и показать наконец без утайки, что за яства в твоём горшке:

Nam verae voces tum demum pectore ab imo  
Eliciuntur, et eripitur persona, manet res<sup>38</sup>.

Вот почему это последнее испытание – окончательная проверка и пробный камень всего того, что совершено нами в жизни. Этот день – верховный день, судья всех остальных наших дней. Этот день, говорит один древний автор, судит все мои прошлые годы. Смерти предоставляю я оценить плоды моей деятельности, и тогда станет ясно, исходили ли мои речи только из уст или также из сердца.

Я знаю иных, которые своей смертью обеспечили добрую или, напротив, дурную славу всей своей прожитой жизни. Сципион, тесть Помпея, заставил своей смертью замолкнуть дурное мнение, существовавшее о нем прежде. Эпаминонд, когда кто-то спросил его, кого же он ставит выше – Хабрия, Ификрата или себя, ответил: «Чтобы решить этот вопрос, надлежало бы посмотреть, как будет умирать каждый из нас». И действительно, очень многое отнял бы у него тот, кто стал бы судить о нем, не приняв в расчет величия и благородства его кончины. Неисповедима воля Господня! В мои времена три самых отвратительных человека, каких я когда-либо знал, ведших самый мерзкий образ жизни, три законченных негодяя умерли как подобает порядочным людям и во всех отношениях, можно сказать, безупречно.

Бывают смерти доблестные и удачные. Так, например, я знал одного человека, нить поразительных успехов которого была оборвана смертью в момент, когда он достиг наивысшей точки своего жизненного пути; конец его был столь величав, что, на мой взгляд, его честолобивые и смелые замыслы не заключали в себе столько возвышенного, сколько это крушение их. Он пришел, не сделав ни шагу, к тому, чего добивался, и притом это свершилось более величественно и с большей славой, чем на это могли бы притязать его желания и надежды. Своей гибелью он приобрел больше могущества и более громкое имя, чем мечтал об этом при жизни.

Оценивая жизнь других, я неизменно учитываю, каков был конец ее, и на этот счет главнейшее из моих упований состоит в том, чтобы моя собственная жизнь закончилась достаточно хорошо, то есть спокойно и неприметно.

<sup>38</sup> Только тогда наконец из глубины сердца вырываются истинные слова, срыгается личина и остается сущность (лат.). Лукреций, III, 57–58.

## *Глава XXI*

### **О силе нашего воображения**

*Fortis imaginatio generat casum*<sup>39</sup>, – говорят ученые.

Я один из тех, на кого воображение действует с исключительной силой. Всякий более или менее поддается ему, но некоторых оно совершенно одолевает. Его натиск подавляет меня. Вот почему я норовлю ускользнуть от него, но не сопротивляюсь ему. Я хотел бы видеть вокруг себя лишь здоровые и веселые лица. Если кто-нибудь страдает в моем присутствии, я сам начинаю испытывать физические страдания, и мои ощущения часто вытесняются ощущениями других. Если кто-нибудь поблизости закашляется, у меня стесняется грудь и першит в горле. Я менее охотно навещаю больных, в которых принимаю участие, чем тех, к кому меньше привязан и к кому испытываю меньшее уважение. Я перенимаю наблюдаемую болезнь и испытываю ее на себе. И я не нахожу удивительным, что воображение причиняет горячку и даже смерть тем, кто дает ему волю и поощряет его. Симон Тома был великим врачом своего времени. Помню, как однажды, встретив меня у одного из своих больных, богатого старика, больного чахоткой, он, толкуя о способах вернуть ему здоровье, сказал, между прочим, что один из них – это сделать для меня привлекательным пребывание в его обществе, ибо, направляя свой взор на мое свежее молодое лицо, а мысли на жизнерадостность и здоровье, источаемые моей юностью в таком изобилии, а также заполняя свои чувства цветением моей жизни, он сможет улучшить свое состояние. Он забыл только прибавить, что из-за этого может ухудшиться мое собственное здоровье. Вибий Галл настолько хорошо научился проникаться сущностью и проявлениями безумия, что, можно сказать, вывихнул свой ум и никогда уже не мог вправить его; он мог бы с достаточным основанием похвалиться, что стал безумным от мудрости. Встречаются и такие, которые, трепеща перед рукой палача, как бы упреждают ее, – и вот тот, кого развешивают на эшафоте, чтобы прочесть ему указ о помиловании, – покойник, сраженный своим собственным воображением. Мы покрываемся потом, дрожим, краснеем, бледнеем, потрясые своими фантазиями, и, зарывшись в перину, изнемогаем от их натиска; случается, что иные даже умирают от этого. И пылкая молодежь иной раз так разгорячится, уснув в полном одеянии, что во сне получает удовлетворение своих любовных желаний:

*Ut, quasi transactis saepe omnibus rebus, profundant  
Fluminis ingentes fluctus vestemque cruentent*<sup>40</sup>.

И хотя никому не внове, что в течение ночи могут вырасти рога у того, кто, ложась, не имел их в помине, все же происшедшее с Циппом, царем итальянским, особенно примечательно; последний, следя весь день с неослабным вниманием за боем быков и видя ночь напролет в своих сновидениях бычью голову с большими рогами, кончил тем, что вырастил их на своем лбу одной силою воображения. Страсть одарила одного из сыновей Креза голосом, в котором ему отказала природа; а Антиох схватил горячку, потрясенный красотой Стратоники, слишком сильно подействовавшей на его душу. Плиний рассказывает, что ему довелось видеть некоего Люция Коссиция – женщину, превратившуюся в день своей свадьбы в мужчину. Понтано и другие сообщают о превращениях такого же рода, имевших место в Италии и в последующие века. И благодаря не знающему преград желанию, а также желанию матери,

<sup>39</sup> Сильное воображение порождает события (*лат.*).

<sup>40</sup> Как будто все уже совершив, извергают обильные потоки и марают свою одежду (*лат.*). Лукреций, IV, 1035 сл.

Vota puer solvit, quae femina voverat Iphis<sup>41</sup>.

Проезжая через Витри Ле-Франсе, я имел возможность увидеть там человека, которому епископ Суассонский дал на конфирмации имя Жермен; этого молодого человека все местные жители знали и видели девушкой, носившей до двадцатидвухлетнего возраста имя Мария. В то время, о котором я вспоминаю, этот Жермен был с большой бородой, стар и не был женат. Мужские органы, согласно его рассказу, возникли у него в тот момент, когда он сделал усилие, чтобы прыгнуть дальше. И теперь еще между местными девушками распространена песня, в которой они предостерегают друг дружку от непомерных прыжков, дабы не сделаться юношами, как это случилось с Марией-Жерменом. Нет никакого чуда в том, что такие случаи происходят довольно часто. Если воображение в силах творить подобные вещи, то, постоянно прикованное к одному и тому же предмету, оно предпочитает порою, вместо того чтобы возвращаться все снова и снова к тем же мыслям и тем же жгучим желаниям, одарять девиц навсегда этой мужской принадлежностью.

Некоторые приписывают рубцы короля Дагобера и святого Франциска также силе их воображения. Говорят, что иной раз оно бывает способно поднимать тела и переносить их с места на место. А Цельс – тот рассказывает о жреце, доведившем свою душу до такого экстаза, что тело его на долгое время делалось бездыханным и теряло чувствительность. Святой Августин называет другого, которому достаточно было услышать чей-нибудь плач или стон, как он сейчас же впадал в обморок, и настолько глубокий, что, сколько бы ни кричали ему в самое ухо, и вопили, и щипали его, и даже подпаливали, ничто не помогало, пока он не приходил наконец в сознание; он говорил, что в таких случаях ему слышатся какие-то голоса, но как бы откуда-то издалека, и только теперь, опомнившись, он замечал свои синяки и ожоги. А что это не было упорным притворством и что он не скрывал просто-напросто свои ощущения, доказывается тем, что, пока длился обморок, он не дышал и у него не было пульса.

Вполне вероятно, что вера в чудеса, видения, колдовство и иные необыкновенные вещи имеют своим источником главным образом воображение, воздействующее с особой силой на души людей простых и невежественных, поскольку они податливее других. Из них настолько вышибли способность здраво судить, воспользовавшись их легковерием, что им кажется, будто они видят то, чего на деле вовсе не видят.

Я держусь того мнения, что так называемое наведение порчи на новобрачных, которое столь многим людям причиняет большие неприятности и о котором в наше время столько толкуют, объясняется, в сущности, лишь действием тревоги и страха. Мне доподлинно известно, что некто, за кого я готов поручиться, как за себя самого, в том, что его-то уж никак нельзя заподозрить в недостаточности подобного рода, равно как и в том, что он был во власти чар, услышав как-то от одного из своих приятелей о внезапно постигшем того, и притом в самый неподходящий момент, полном бессилии, испытал, оказавшись в сходном положении, то же самое вследствие страха, вызванного в нем этим рассказом, поразившим его воображение. С тех пор с ним не раз случалась подобная вещь, ибо тягостное воспоминание о первой неудаче связывало и угнетало его. В конце концов он избавился от этого надуманного недуга при помощи другой выдумки. А именно, признаваясь в своем недостатке и предупреждая о нем, он облегчал свою душу, ибо сообщением о возможности неудачи он как бы уменьшал степень своей ответственности, и она меньше тяготила его. После того как он избавился от угнетавшей его сознание вины и почувствовал себя свободным вести себя так или иначе, его телесные способности перешли в свое натуральное состояние; первая же попытка его оказалась удачной, и он добился полного исцеления.

<sup>41</sup> Юноша исполнил обеты, которые дала девушка Ифис (лат.) Овидий. *Метаморфозы*, IX, 794.



Ведь кто оказался способным к этому хоть один раз, тот и в дальнейшем сохранит эту способность, если только он и в самом деле не страдает бессилием. Этой невзгоды следует опасаться лишь на первых порах, когда наша душа сверх меры охвачена, с одной стороны, пылким желанием, с другой – робостью, и особенно если благоприятные обстоятельства застают нас врасплох и требуют решительности и быстроты действий; тут уж действительно ничем не поможешь. Я знаю одного человека, которому помогло от этой беды его собственное тело, когда в последнем началось пресыщение и вследствие этого ослабление плотского желания; с годами он стал ощущать в себе меньше бессилия именно потому, что сделался менее сильным. Знаю я и другого, которому от того же помог один из друзей, убедивший его, будто он обладает целой батареей амулетов разного рода, способных противостоять всяким чарам. Но лучше я расскажу все по порядку. Некий граф из очень хорошего рода, с которым я был в приятельских отношениях, женился на прелестной молодой женщине; поскольку за нею прежде упорно ухаживал некто, присутствовавший на торжестве, молодой супруг переполошил своими страхами и опасениями друзей и в особенности одну старую даму, свою родственницу, распорядившуюся на свадьбе и устроившую ее у себя в доме; эта дама, боявшаяся наваждений и сглаза, поделилась своею тревогой со мной. Я попросил ее положиться во всем на меня. К счастью, в моей шкатулке оказалась золотая вещица с изображенными на ней знаками зодиака. Считалось, что, если ее приложить к черепному шву, она помогает от солнечного удара и головной боли, а дабы она могла там держаться, к ней была прикреплена лента, достаточно длинная, чтобы концы ее можно было завязывать под подбородком. Короче говоря, это такой же вздор, как и тот, о котором мы ведем речь. Этот необыкновенный подарок сделал мне Жак Пеллетье. Я вознамерился употребить его в дело и сказал графу, что его может постигнуть такая же неудача, как и многих других, ибо тут находятся личности, готовые подстроить ему подобную неприятность. Но пусть он смело ложится в постель, так как я намерен оказать ему дружескую услугу и не пожалею для него чудесного средства, которым располагаю, при условии, что он даст мне слово сохранять относительно этого строжайшую тайну. Единственное, что потребуется от него, это чтобы ночью, когда мы понесем к нему в спальню свадебный ужин, он, буде дела его пойдут плохо, подал мне соответствующий знак. Его настолько взволновали мои слова и он настолько пал духом, что не мог совладать с разыгравшимся воображением и подал условленный между нами знак. Тогда я сказал ему, чтобы он поднялся со своего ложа, как бы за тем, чтобы прогнать нас подальше, и, ставив с меня якобы в шутку шлафрок (мы были почти одного роста), надел его на себя, но только после того, как выполнит мои предписания, а именно: когда мы выйдем из спальни, ему следует удалиться будто бы за малой нуждой и трижды прочитать там такие-то молитвы и трижды же проделать такие-то телодвижения; и чтобы он всякий раз опоясывал себя при этом той лентой, которую я ему сунул в руку, прикладывая прикрепленную к ней медаль к определенному месту на пояснице, так чтобы лицевая ее сторона находилась в таком-то и таком-то положении. Прodelав это, он должен хорошенько закрепить ленту, чтобы она не развязалась и не сдвинулась с места, и лишь после всего этого он может наконец с полной уверенностью в себе возвратиться к своим трудам. Но пусть он не забудет при этом, сбросив с себя мой шлафрок, швырнуть его к себе на постель, так чтобы он накрыл их обоих. Эти церемонии и есть самое главное; они-то больше всего и действуют: наш ум не может представить себе, чтобы столь необыкновенные действия не опирались на какие-нибудь тайные знания. Как раз их нелепость и придает им такой вес и значение. Короче говоря, обнаружилось с очевидностью, что знаки на моем талисмানে связаны больше с Венерой, чем с Солнцем, а также, что они скорее поощряют, чем ограждают. На эту проделку толкнула меня внезапная и показавшаяся мне забавною прихоть моего воображения, в общем чуждая складу моего характера. Я враг всяческих ухищрений и выдумок. Я ненавижу хитрость, и не только потехи ради, но и тогда, когда она могла бы доставить выгоду. Если в самом проступке моем и не было ничего плохого, путь, мною избранный, все же плох.

Амасис, царь египетский, женился на Лаодике, очень красивой греческой девушке; и вдруг оказалось, что он, который неизменно бывал славным сотоварищем в любовных утехах, не в состоянии вкусить от нее наслаждений; он грозил, что убьет ее, считая, что тут не без колдовства. И как бывает обычно во всем, что является плодом воображения, оно увлекло его к благочестию; обратившись к Венере с обетами и мольбами, он ощутил уже в первую ночь после заклания жертвы и возлияний, что силы его чудесным образом восстановились.

И зря иные женщины встречают нас с таким видом, будто к ним опасно притронуться, будто они злятся на нас и мы внушаем им неприязнь; они гасят в нас пыл, стараясь разжечь его. Сноха Пифагора говаривала, что женщина, которая спит с мужчиною, должна вместе с платьем сбрасывать с себя и стыдливость, а затем вместе с платьем вновь обретать ее. Душа осаждающего, скованная множеством тревог и сомнений, легко утрачивает власть над собою, — и кого воображение заставило хоть раз вытерпеть этот позор (а он возможен лишь на первых порах, поскольку первые приступы всегда ожесточеннее и неистовее, а также и потому, что вначале особенно сильны опасения в благополучном исходе), тот, плохо начав, испытывает волнение и досаду, вспоминая об этой беде, и то же самое, вследствие этого, происходит с ним и в дальнейшем.

Новобрачные, у которых времени сколько угодно, не должны торопиться и подвергать себя испытанию, пока они не готовы к нему; и лучше нарушить обычай и не спешить с воздаянием должного брачному ложу, где все исполнено волнения и лихорадки, а дожидаться, сколько бы ни пришлось, подходящего случая, уединения и спокойствия, чем сделаться на всю жизнь несчастным, пережив потрясение и впад в отчаянье от первой неудачной попытки.

Не без основания отмечают своенравие этого органа, так некстати оповещающего нас порой о своей готовности, когда нам нечего с нею делать, и столь же некстати утрачивающего ее, когда мы больше всего нуждаемся в ней; так своенравно сопротивляющегося владычеству нашей воли и с такою надменностью и упорством отвергающего те увещания, с которыми к нему обращается наша мысль. И все же, предложи он мне соответствующее вознаграждение, дабы я защищал его от упреков, служащих основанием, чтобы вынести ему обвинительный приговор, я постарался бы, в свою очередь, возбудить подозрение в отношении остальных наших органов, его сотоварищей, в том, что они, из зависти к важности и приятности принадлежащих ему обязанностей, выдвинули это ложное обвинение и составили заговор, дабы восстановить против него целый мир, злостно приписывая ему одному прегрешения, в которых повинны все они вместе.

Предоставляю вам поразмыслить, существует ли такая часть нашего тела, которая безотказно выполняла бы свою работу в согласии с нашей волей и никогда бы не действовала наперекор ей. Каждой из них свойственны свои особые страсти, которые пробуждают ее от спячки или погружают, напротив, в сон, не спрашиваясь у нас. Как часто произвольные движения на нашем лице уличают нас в таких мыслях, которые мы хотели бы утаить про себя, и тем самым выдают окружающим! Та же причина, что возбуждает наши сокровенные органы, возбуждает без нашего ведома также сердце, легкие, пульс: вид приятного нам предмета мгновенно воспаляет нас лихорадочным возбуждением. Разве мышцы и жилы не напрягаются, а также не расслабляются сами собой, не только помимо участия нашей воли, но и тогда, когда мы даже не помышляем об этом? Не по нашему приказанию волосы становятся у нас дыбом, а кожа покрывается потом от желания или страха. Бывает и так, что язык цепенеет и голос застревает в гортани. Когда нам нечего есть, мы охотно запретили бы голоду беспокоить нас своими напоминаниями, и, однако, желание есть и есть не перестает терзать наши органы, подчиненные ему, совершенно так же, как то, другое желание; и оно же, когда ему вздумается, внезапно бежит от нас, и часто весьма некстати. Органы, предназначенные разгружать наш желудок, также сжимаются и расширяются по своему произволу, помимо нашего намерения, и порой вопреки ему, равно как и те, которым надлежит разгружать наши почки. Правда, св.

Августин, чтобы доказать всемогущество вашей воли, в ряду других доказательств ссылается также на одного человека, которого он сам видел и который приказывал своему заду производить то или иное количество выстрелов, а комментатор св. Августина Вивес добавляет пример, относящийся уже к его времени, сообщая, что некто умел издавать подобные звуки соответственно размеру стихов, которые при этом читали ему; отсюда, однако, вовсе не вытекает, что данная часть нашего тела всегда повинуется нам, ибо чаще всего она ведет себя весьма и весьма нескромно, доставляя нам немало хлопот. Добавлю, что мне ведома одна такая же часть нашего тела, настолько шумливая и своенравная, что вот уже сорок лет, как она не дает своему хозяину ни отдыха, ни срока, действуя постоянно и непрерывно и ведя его, подобным образом, к преждевременной смерти.

Но и наша воля, защищая права которой, мы выдвинули эти упреки, – как же дело обстоит с нею? Не можем ли мы по причине свойственных ей строптивости и необузданности с еще большим основанием заклеить ее обвинением в возмущениях и мятежах? Всегда ли она желает того, чего мы хотим, чтобы желала она? Не желает ли она часто того – и притом к явному ущербу для нас, – что мы ей запрещаем желать? Не отказывается ли она повиноваться решениям нашего разума? Наконец, в пользу моего подзащитного я мог бы добавить и следующее: да соблаговолят принять во внимание то, что обвинение, выдвинутое против него, неразрывно связано с пособничеством его сотоварищей, хотя и обращено только к нему одному, ибо улики и доказательства здесь таковы, что, учитывая обстоятельства тяжущихся сторон, они не могут быть предъявлены его сотоварищам. Уже из этого легко усмотреть недобросовестность и явную пристрастность истцов. Как бы то ни было, сколько бы ни препирались и какие бы решения ни выносили адвокаты и судьи, природа всегда будет действовать согласно своим законам; и она поступила, вне всякого сомнения, вполне правильно, даровав этому органу кое-какие особые права и привилегии. Он – вершитель и исполнитель единственного бессмертного деяния смертных. Зачатие, согласно Сократу, есть божественное деяние; любовь – жажда бессмертия и она же – бессмертный дух.

Иной благодаря силе воображения оставляет свою золотуху у нас, тогда как товарищ его уносит ее обратно в Испанию. Вот почему в подобных вещах требуется, как правило, известная подготовка души. Ради чего врачи с таким рвением добиваются доверия своего пациента, не скупясь на лживые посулы поправить его здоровье, если не для того, чтобы его воображение пришло на помощь их надувательским предписаниям? Они знают из сочинения, написанного одним из светил их ремесла, что бывают люди, которые поправляются от одного вида лекарства.

Обо всех этих причудливых и странных вещах я вспомнил совсем недавно в связи с тем, о чем мне рассказывал наш домашний аптекарь, – его услугами пользовался мой покойный отец, – человек простой, из швейцарцев, а это, как известно, народ ни в какой мере не суетный и не склонный прилгнуть. В течение долгого времени, проживая в Тулузе, он посещал одного больного купца, страдавшего от камней и нуждавшегося по этой причине в частых клистирах, так что врачи, в зависимости от его состояния, прописывали ему по его требованию клистиры разного рода. Их приносили к нему, и он никогда не забывал проверить, все ли в надлежащем порядке; нередко он пробовал также, не слишком ли они горячи. Но вот он улегся в постель, повернулся спиной; все сделано как полагается, кроме того что содержимое клистира так и не введено ему внутрь. После этого аптекарь уходит, а пациент устраивается таким образом, словно ему и впрямь был поставлен клистир, ибо все сделанное над ним действовало на него не иначе как действует это средство на тех, кто по-настоящему применяет его. Если врач находил, что клистир подействовал недостаточно, аптекарь давал ему еще два или три совершенно таких же. Мой рассказчик клянется, что супруга больного, дабы избежать лишних расходов (ибо он оплачивал эти клистиры, как если бы они и в самом деле были ему поставлены), делала неоднократные попытки ограничиться тепловатой водой, но так как это не действовало, про-

делка ее вскоре открылась, и, поскольку ее клистиры не приносили никакой пользы, пришлось возвратиться к старому способу.

Одна женщина, вообразив, что проглотила вместе с хлебом булавку, кричала и мучилась, испытывая, по ее словам, нестерпимую боль в области горла, где якобы и застряла булавка. Но так как не наблюдалось ни опухоли, ни каких-либо изменений снаружи, некий смысленный малый, рассудив, что тут всего-навсего мнительность и фантазия, порожденные тем, что кусочек хлеба оцарапал ей мимоходом горло, вызвал у нее рвоту и подбросил в то, чем ее вытошнило, изогнутую булавку. Женщина, поверив, что она и взаправду извергла булавку, внезапно почувствовала, что боли утихли. Мне известен также и такой случай: один дворянин, попотчевав на славу гостей, через три или четыре дня после этого стал рассказывать в шутку (ибо в действительности ничего подобного не было), будто он накормил их паштетом из кошачьего мяса. Это ввергло одну девицу из числа тех, кого он принимал у себя, в такой ужас, что у нее сделались рези в желудке, а также горячка, и спасти ее так и не удалось. Даже животные и те, совсем как люди, подвержены силе своего воображения; доказательством могут служить собаки, которые околевают с тоски, если потеряют хозяина. Мы наблюдаем также, что они твеляют и вздрагивают во сне; а лошади ржут и лягаются.

Но все вышесказанное может найти объяснение в тесной связи души с телом, сообщающими друг другу свое состояние. Иное дело, если воображение, как это подчас случается, воздействует не только на свое тело, но и на тело другого. И подобно тому как больное тело переносит свои немощи на соседей, что видно хотя бы на примере чумы, сифилиса или главных болезней, переходящих с одного на другого, —

Dum spectant oculi laesos, laeduntur et ipsi:  
Multaque corporibus transitione nocent<sup>42</sup>,

так равным образом и возбужденное воображение мечет стрелы, способные поражать окружающие предметы. Древние рассказывают о скифских женщинах, которые, распалившись на кого-нибудь гневом, убивали его своим взглядом. Черепахи и страусы высиживают свои яйца исключительно тем, что, не отрываясь, смотрят на них, и это доказывает, что они обладают некоей изливающейся из них силою. Что касается колдунов, то утверждают, будто их взгляды наводят порчу и сглаз:

Nescio qui teneros oculus mihi fascinat agnos<sup>43</sup>.

Чародеи, впрочем, по-моему, плохие ответчики. Но вот что мы знаем на основании опыта: женщины сообщают детям, вынашивая их в своем чреве, черты одолевающих их фантазий; доказательством может служить та, что родила негра. Карлу, королю богемскому и императору, показали как-то одну девицу из Пизы, покрытую густой и длинной шерстью; по словам матери, она ее зачала такою, потому что над ее постелью висел образ Иоанна Крестителя. То же самое и у животных; доказательство — овны Иакова, а также куропатки и зайцы, выбеленные в горах лежащим там снегом. Недавно мне пришлось наблюдать, как кошка подстерегала сидевшую на дереве птичку; обе они некоторое время смотрели, не сводя глаз, друг на друга, и вдруг птичка как мертвая свалилась кошке прямо в лапы, то ли одурманенная своим собственным воображением, то ли привлеченная какой-то притягательной силой, исходившей от кошки. Любители соколиной охоты знают, конечно, рассказ о сокольном, который побился

<sup>42</sup> Глядя на больных, наши глаза и сами заболевают, и многое вредит телу заразой (лат.). Овидий. *Лекарство от любви*, 615.

<sup>43</sup> Не знаю, чей глаз испортил моих ягнят (лат.). Вергилий. *Эклоги*, III, 103.

об заклад, что, пристально смотря на парящего в небе ястреба, он заставит его, единственно лишь силою своего взгляда, спуститься на землю и, как говорят, добился своего. Впрочем, рассказы, заимствованные мной у других, я оставляю на совести тех, от кого я их слышал.

Выводы из всего этого принадлежат мне, и я пришел к ним путем рассуждения, а не опираясь на мой личный опыт. Каждый может добавить к приведенному мной свои собственные примеры, а у кого их нет, то пусть поверит мне, что они легко найдутся, принимая во внимание большое число и разнообразие засвидетельствованных случаев подобного рода. Если приведенные мною примеры не вполне убедительны, пусть другой подыщет более подходящие.

При изучении наших нравов и побуждений, чем я, собственно, и занимаюсь, вымышленные свидетельства так же пригодны, как подлинные, при условии, что они не противоречат возможному. Произошло ли это в действительности или нет, случилось ли это в Париже или в Риме, с Жаном или Пьером, – вполне безразлично, лишь бы дело шло о той или иной способности человека, которую я с пользою для себя подметил в рассказе. Я ее вижу и извлекаю из нее выгоду, независимо от того, принадлежит ли она теням или живым людям. И из различных уроков, заключенных нередко в подобных историях, я использую для своих целей лишь наиболее необычные и поучительные. Есть писатели, ставящие себе задачей изображать действительные события. Моя же задача – лишь бы я был в состоянии справиться с нею – в том, чтобы изображать вещи, которые могли бы произойти. Школьной премудрости разрешается – да иначе и быть не могло бы – усматривать сходство между вещами даже тогда, когда на деле его нет и в помине. Я же ничего такого не делаю и в этом отношении превосхожу своею дотошностью самого строгого историка. В примерах, мною здесь приводимых и почерпнутых из всего того, что мне довелось слышать, самому совершить или сказать, я не позволил себе изменить ни малейшей подробности, как бы малозначительна она ни была. В том, что я знаю, – скажу по совести, – я не отступаю от действительности ни на йоту; ну а если чего не знаю, прошу за это меня не винить.

Кстати, по этому поводу: порой я задумываюсь над тем, как это может теолог, философ или вообще человек с чуткой совестью и тонким умом браться за составление хроник? Как могут они согласовать свое мерило правдоподобия с мерилом толпы? Как могут они отвечать за мысли неизвестных им лиц и выдавать за достоверные факты свои домыслы и предположения? Ведь они, пожалуй, отказались бы дать под присягою показания относительно скольких-нибудь сложных происшествий, случившихся у них на глазах; у них нет, пожалуй, ни одного знакомого им человека, за намерения которого они согласились бы полностью отвечать. Я считаю, что описывать прошлое – меньший риск, чем описывать настоящее, ибо в этом случае писатель отвечает только за точную передачу заимствованного им у других. Некоторые уговаривают меня описать события моего времени; они основываются на том, что мой взор менее затуманен страстями, чем чей бы то ни было, а также, что я ближе к этим событиям, чем кто-либо другой, ибо судьба доставила мне возможность общаться с вождями различных партий. Но они упускают из виду, что я не взял бы на себя этой задачи за всю славу Саллюстия, что я заклятый враг всяческих обязательств, усидчивости, настойчивости; что нет ничего столь противоречащего моему стилю, как распространенное повествование; что я постоянно сам себя прерываю, потому что у меня не хватает дыхания; что я не обладаю способностью стройно и ясно что-либо излагать; что я превосхожу, наконец, даже малых детей своим невежеством по части самых обыкновенных, употребляемых в повседневном быту фраз и оборотов. И все же я решился высказать здесь, приспособляя содержание к своим силам, то, что я умею сказать. Если бы я взял кого-нибудь в поводыри, мои шаги едва ли совпадали б с его шагами. И если бы я был волен располагать своей волей, я предал бы гласности рассуждения, которые и на мой собственный взгляд, и в соответствии с требованиями разума были бы противозаконными и подлежали бы наказанию. Плутарх мог бы сказать о написанном им, что забота о достоверности, всегда и во всем, тех примеров, к которым он обращается, – не его дело; а вот чтобы

они были назидательны для потомства и являлись как бы факелом, озаряющим путь к добродетели, – это действительно было его заботой. Предания древности – не то что какое-нибудь врачебное снадобье; здесь не представляет опасности, составлены ли они так или этак.

## *Глава XXII*

### **Выгода одного – ущерб для другого**

Демад, афинянин, осудил одного из своих сограждан, торговавшего всем необходимым для погребения, основываясь на том, что тот стремился к слишком большой выгоде, достигнуть которой можно было бы не иначе как ценою смерти очень многих людей. Этот приговор кажется мне необоснованным, ибо, вообще говоря, нет такой выгоды, которая не была бы связана с ущербом для других; и потому, если рассуждать как Демад, следовало бы осудить любой заработок.

Купец наживается на мотовстве молодежи; земледелец – благодаря высокой цене на хлеб; строитель – вследствие того, что здания приходят в упадок и разрушаются; судейские – на ссорах и тяжбах между людьми; священники (даже они!) обязаны как почетом, которым их окружают, так и самой своей деятельностью нашей смерти и нашим порокам. Ни один врач, говорится в одной греческой комедии, не радуется здоровью даже самых близких своих друзей, ни один солдат – тому, что его родной город в мире со своими соседями, и так далее. Да что там! Покопайся каждый из нас хорошенько в себе, и он обнаружит, что самые сокровенные его желания и надежды возникают и питаются по большей части за счет кого-нибудь другого.

Когда я размышлял об этом, мне пришло в голову, что природа и здесь верна установленному ею порядку, ибо, как полагают естествоиспытатели, зарождение, питание и рост каждой вещи есть в то же время разрушение и гибель другой.

Nam quodcunque suis mutatum finibus exit,  
Continuo hoc mors est illius, quod fuit ante<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> Если что-то, изменившись, выходит за свои границы, оно тут же становится смертью того, что было прежде (лат.). Лукреций, II, 753 сл.

### Глава XXIII

## О привычке, а также о том, что не подобает без достаточных оснований менять укоренившиеся законы

Прекрасно, как кажется, постиг силу привычки тот, кто первый придумал сказку о той деревенской женщине, которая, научившись ласкать теленка и носить его на руках с часа его рождения и продолжая делать то же и дальше, таскала его на руках и тогда, когда он вырос и стал нарядным бычком. И действительно, нет наставницы более немилосердной и коварной, чем наша привычка. Мало-помалу украдкой забирает она власть над нами, но, начиная скромно и добродушно, она с течением времени укореняется и укрепляется в нас, пока наконец не сбрасывает покрывало со своего властного и деспотического лица, и тогда мы не смеем уже поднять на нее взгляда. Мы видим, что она постоянно нарушает установленные самой природой правила: *Usus efficacissimus rerum omnium magister*<sup>45</sup>.

В связи с этим я вспоминаю пещеру Платона в его «Государстве», а также врачей, которые в угоду привычке столь часто пренебрегают предписаниями своего искусства, и того царя, который приучил свой желудок питаться ядом, и девушку, о которой рассказывает Альберт, что она привыкла употреблять в пищу исключительно пауков.

И в Новой Индии, которая есть целый мир, были обнаружены весьма многолюдные народы, обитающие в различных климатах, которые также употребляют в пищу главным образом пауков; они заготавливают их впрок и откармливают, как, впрочем, и саранчу, муравьев, ящериц и летучих мышей, и однажды во время недостатка в съестных припасах там продали жабу за шесть экю; они жарят их и готовят с приправами разного рода. Были обнаружены и такие народы, для которых наша мясная пища оказалась ядовитой и смертельной. *Consuetudinis magna vis est. Pernocant venatores in nive: in montibus uri se patiuntur. Pugiles caestibus contusi ne ingemiscunt quidem*<sup>46</sup>.

Эти позаимствованные в чужих странах примеры не покажутся странными, если мы обратимся к личному опыту и припомним, насколько привычка способствует притуплению наших чувств. Для этого вовсе не требуется прибегать к рассказам о людях, живущих близ порогов Нила, или о том, что философы считают музыкою небес, а именно, будто бы небесные сферы, твердые и гладкие, вращаясь, трутся одна о другую, что неизбежно порождает чудные, исполненные дивной гармонии звуки, следуя ритму и движениям которых перемещаются и изменяют свое положение на небосводе хороводы светил, хотя уши земных существ – так же, как, например, уши египтян, обитающих по соседству с порогами Нила, – по причине непрерывного этого звучания не в состоянии уловить его, сколько бы мощным оно ни было. Кузнецы, мельники и оружейники не могли бы выносить того шума, в котором работают, если бы он поражал их слух так же, как наш. Мой колет из продушенной кожи вначале приятно щекочет мой нос, но если я проношу его, не снимая, три дня подряд, он будет приятен лишь обонянию окружающих. Еще поразительнее, что в нас может образоваться и закрепиться привычка, подчиняющая себе наши органы чувств даже тогда, когда то, что породило ее, воздействует на них не непрерывно, но с большими промежутками; это хорошо знают те, кто живет поблизости от колокольной. У себя дома я живу в башне, на которой находится большой колокол, вызывающий на утренней и вечерней заре *Ave Maria*. Сама башня и та бывает испугана этим трезво-

---

<sup>45</sup> Привычка – лучший наставник (*лат.*). Плиний Старший, XXVI, 6.

<sup>46</sup> Велика сила привычки. Охотники проводят ночь на снегу, страдают от мороза в горах. Борцы, избитые цестами, не издадут стоны (*лат.*). Цицерон. *Тускуланские беседы*, II, 17.



ном; в первые дни он и мне казался совершенно невыносимым, но спустя короткое время я настолько привык к нему, что теперь он вовсе не раздражает, а часто даже и не будит меня.

Платон разбил одного мальчугана за то, что тот увлекался игрою в бабки. Тот ответил ему: «Ты бранишь меня за безделицу». «Привычка, – сказал на это Платон, – совсем не безделица».

Я нахожу, что все наихудшие наши пороки зарождаются с самого нежного возраста и что наше воспитание зависит главным образом от наших кормилиц и нянюшек. Для матерей нередко бывает забавою смотреть, как их сыночек сворачивает шею цыпленку и потешается, мучая кошку или собаку. А иной отец бывает до такой степени безрассуден, что, видя как его сын ни за что ни про что колотит беззащитного крестьянина или слугу, усматривает в этом добрый признак воинственности его характера, или, наблюдая, как тот же сыночек одурачивает, прибегая к обману и вероломству, своего приятеля, видит в этом проявление присущей его отпрыску бойкости ума. В действительности, однако, это не что иное, как семена и корни жестокости, необузданности, предательства; именно тут они пускают свой первый росток, который впоследствии дает столь буйную поросль и закрепляется в силу привычки. И обыкновение извинять эти отвратительные наклонности легкомыслием, свойственным юности, и незначительностью проступков весьма и весьма опасно. Во-первых, тут слышится голос самой природы, который более звонок и чист, пока не успел огрубеть; во-вторых, разве мошенничество становится менее гадким от того, что речь идет о нескольких су, а не о нескольких экю? Оно гадко само по себе. Я нахожу гораздо более правильным сделать следующий вывод: «Почему такому-то не обмануть на целый экю, коль скоро он обманывает на одно су?» – вместо обычных рассуждений на этот счет: «Ведь он обманул только на одно су; ему и в голову не пришло бы обмануть на целый экю». Нужно настойчиво учить детей ненавидеть пороки как таковые; нужно, чтобы они воочию видели, насколько эти пороки уродливы, и избегали их не только в делах своих, но и в сердце своем; нужно, чтобы самая мысль о пороках, какую бы личину они ни носили, была им ненавистна. Я убежден, что если и посейчас еще, даже в самой пустячной забаве, я испытываю крайнее отвращение к обманам всякого рода, что является внутренней моей потребностью и следствием естественных моих склонностей, а не чем-то требующим усилий, то причина этого в том, что меня приучили с самого детства ходить только прямой и открытой дорогой, гнушаясь в играх со сверстниками (здесь кстати отметить, что игры детей – вовсе не игры и что правильнее смотреть на них как на самое значительное и глубокомысленное занятие этого возраста) каких бы то ни было плутней и хитростей. Играя в карты на дубли, я рассчитываюсь с такою же щепетильностью, как если бы играл на двойные дублоны, и тогда, когда проигрыш и выигрыш, в сущности, для меня безразличны, поскольку я играю с женою и дочерью, и тогда, когда я смотрю на дело иначе. Во всем и везде мне достаточно своих собственных глаз, дабы исполнить как подобает мой долг, и нет на свете другой пары глаз, которая следила бы за мной так же пристально и к которой я питал бы большее уважение.

Недавно я видел у себя дома одного карлика родом из Нанта, безрукого от рождения; он настолько хорошо приучил свои ноги служить ему вместо рук, что они, можно сказать, наполовину забыли возложенные на них природой обязанности. Впрочем, он их и не называет иначе, как своими руками; ими он режет, заряжает пистолет и спускает курок, вдвигает нитку в иглу, шьет, пишет, снимает шляпу, причесывается, играет в карты и в кости, бросая их не менее ловко, чем всякий другой; деньги, которые я ему дал (ибо он зарабатывает на жизнь, показывая себя), он принял ногой, как мы бы сделали это рукой. Знал я и другого калеку, еще совсем мальчика, который, будучи также безруким, удерживал подбородком, прижимая его к груди, алебарду и двуручный меч, подбрасывал и снова ловил их, метал кинжал и щелкал бичом с таким же искусством, как заправский возница-француз.

Но еще легче обнаружить тиранию привычки в тех причудливых представлениях, которые она создает в наших душах, поскольку они меньше сопротивляются ей. Чего только не в

силах сделать она с нашими суждениями и верованиями! Существует ли такое мнение, каким бы нелепым оно нам ни казалось (я не говорю уже о грубом обмане, лежащем в основе многих религий и одурачившем столько великих народов и умных людей, ибо это за пределами человеческого разума, и на кого не снизошла благодать Божья, тому недолго и заблудиться), так вот, существуют ли такие, непостижимые для нас, взгляды и мнения, которых она не насадила бы и не закрепила в качестве непреложных законов в избранных ею по своему произволу странах? И до чего справедливо это древнее восклицание: *Non pudet physicum, id est speculatorem venatoremque naturae, ab animis consuetudine imbutis quaerere testimonium veritatis!*<sup>47</sup>

Я полагаю, что нет такой зародившейся в человеческом воображении выдумки, сколь бы сумасбродною она ни была, которая не встретила бы где-нибудь как общераспространенный обычай и, следовательно, не получила бы одобрения и обоснования со стороны нашего разума. Существуют народы, у которых принято показывать спину тому, с кем здороваешься, и никогда не смотреть на того, кому хочешь засвидетельствовать почтение. Есть и такой народ, у которого, когда царь пожелает плюнуть, одна из придворных дам, и притом та, что пользуется наибольшим благоволением, подставляет для этого свою руку; в другой же стране наиболее влиятельные из царского окружения склоняются при сходных обстоятельствах до земли и подбирают платком царский плевок.

Уделим здесь место следующей побасенке. Один французский дворянин неизменно сморкался в руку, что является непростительным нарушением наших обычаев. Защищая как-то эту свою привычку (а он был весьма находчивый спорщик), он обратился ко мне с вопросом: какие же преимущества имеет это грязное выделение сравнительно с прочими, что мы собираем его в отличное тонкое полотно, завертываем и, что еще хуже, бережно храним при себе? Ведь это же настолько противно, что не лучше ли оставлять его где попало, как мы и делаем с прочими нашими испражнениями? Я счел его слова не лишенными известного смысла и, привыкнув к тому, что он очищает нос описанным способом, перестал обращать на это внимание, хотя, слушая подобные рассказы о чужестранцах, мы находим их омерзительными.

Если чудеса и существуют, то только потому, что мы недостаточно знаем природу, а вовсе не потому, что это ей свойственно. Привычка притупляет остроту наших суждений. Дикари для нас несколько не большее чудо, нежели мы сами для них, да к этому и нет никаких оснований; это признал бы каждый, если б только сумел, познакомившись с чуждыми для нас учреждениями, остановиться затем на привычных и здраво сравнить их между собой. Ведь все наши воззрения и нравы, каков бы ни был их внешний облик, – а он бесконечен в своих проявлениях, бесконечен в разнообразии – примерно в одинаковой мере находят обоснование со стороны нашего разума. Но вернусь к моему рассуждению. Существуют народы, у которых никому, кроме жены и детей, не дозволяется обращаться к царю иначе, как через посредствующих лиц. У одного и того же народа девственницы выставляют напоказ наиболее сокровенные части своего тела, тогда как замужние женщины тщательно прикрывают и прячут их. С этим обычаем связан, до некоторой степени, еще один из числа распространенных у них: так как целомудрие ценится только в замужестве, девушкам разрешается отдаваться, кому они пожелают, и, буде они понесут, делать выкидыши с помощью соответствующих снадобий, ни от кого не таясь. Кроме того, если сочетается браком купец, все прочие приглашенные на свадьбу купцы ложатся с новобрачною прежде него, и чем больше их будет, тем больше для нее чести и уважения, ибо это считается свидетельством ее здоровья и силы; если женится должностное лицо, то и тут наблюдается то же самое; так же бывает и на свадьбе знатного человека, и у всех прочих, за исключением земледельцев и других простолюдинов, ибо здесь право первенства – за сеньором; но в замужестве полагается соблюдать безупречную верность. Существуют

<sup>47</sup> Не стыдно ли физику, исследователю и испытателю природы, искать свидетельство истины в душах, поработанных привычкой! (лат.). Цицерон. *О природе богов*, I, 30.

народы, у которых можно увидеть публичные дома, где содержатся мальчики и где даже заключаются браки между мужчинами; существуют также племена, у которых женщины отправляются на войну вместе с мужьями и не только допускаются к участию в битвах, но подчас и начальствуют над войсками. Бывают народы, где кольца носят не только в носу, на губах, на щеках и больших пальцах ноги, но продевают также довольно тяжелые прутья из золота через соски и ягодицы. Где за едой вытирают руки о ляжки, мошонку и ступни ног. Где дети не наследуют своим родителям, но наследниками являются братья и племянники, а бывает и так, что только племянники (впрочем, это не относится к престолонаследию). Где все находится в общем владении и для руководства всеми делами назначают облеченных верховною властью должностных лиц, которые и несут заботу о возделывании земли и распределении возвращенных ею плодов в соответствии с нуждами каждого. Где оплакивают смерть детей и празднуют смерть стариков. Где на общее ложе укладывается десять или двенадцать супружеских пар. Где женщины, чьи мужья погибли насильственной смертью, могут выйти замуж вторично, тогда как всем прочим это запрещено. Где женщины ценятся до того низко, что всех новорожденных девочек безжалостно убивают; женщин же для своих нужд покупают у соседних народов. Где муж может оставить жену без объяснения причин, тогда как жена не может этого сделать, на какие бы причины она ни ссылалась. Где муж вправе продать жену, если она бесплодна. Где вываривают трупы покойников, а затем растирают их, пока не получится нечто вроде кашицы, которую смешивают с вином, и потом пьют этот напиток. Где самый желанный вид погребения – это быть отданным на съедение собакам, а в других местах – птицам. Где верят, что души, вкушающие блаженство, наслаждаются полной свободой, обитая в прелестных полях и испытывая самые разнообразные удовольствия, и что это они порождают эхо, которое нам доводится иногда слышать. Где сражаются только в воде и, плавая, метко стреляют из лука. Где в знак покорности нужно поднять плечи и опустить голову, а входя в жилище царя, разуться. Где у евнухов, охраняющих женщин, посвятивших себя религии, отрезают вдобавок еще носы и губы, чтобы их нельзя было любить, а священнослужители выкалывают себе глаза, дабы приблизиться к демонам и принимать их прорицания. Где каждый создает себе бога из всего, чего бы ни захотел: охотник – из льва или лисицы; рыбак – из той или иной рыбы, и они творят идолов из любого действия человеческого и из любой страсти; их главные боги: солнце, луна и земля; клянутся же они, прикоснувшись рукой к земле и обратив глаза к солнцу, а мясо и рыбу едят сырыми. Где самая страшная клятва – это поклясться именем какого-нибудь покойника, который пользовался доброю славой в стране, прикоснувшись рукой к его могиле. Где новогодний подарок царя состоит в том, что он посылает князьям, своим вассалам, огонь из своего очага; и когда прибывает царский гонец, доставляющий этот огонь, все огни, до этого горевшие в княжеском дворце, должны быть погашены; а подданные князей должны, в свою очередь, заимствовать у них этот огонь под страхом кары за оскорбление величества. Где царь, желая отдаться целиком благочестию (а это случается у них достаточно часто), отрекается от престола, и тогда ближайший наследник его обязан поступить так же, а власть переходит к следующему. Где изменяют образ правления в государстве в соответствии с требованиями обстоятельств: царя, когда им кажется это нужным, они смещают, а на его место ставят старейшин, чтобы они управляли страной; иногда же всеми делами вершит община. Где и мужчины и женщины подвергаются обрезанию, а вместе с тем и крещению. Где солдат, которому удалось принести своему государю после одной или нескольких битв семь или больше голов неприятеля, причисляется к знати. Где люди живут в варварском и столь непривычном для нас убеждении, что души – смертны. Где женщины рожают без стонов и страха. Где на обоих коленях они носят медные наколенники: они же, когда их искушает вошь, обязаны, следуя долгу великодушия, в свою очередь, укусить ее; они же не смеют выходить замуж, не предложив прежде царю, если он того пожелает, своей девственности. Где здороваются, приложив палец к земле, а затем подняв его к небу. Где мужчины носят тяжести на голове, а женщины – на плечах; там же жен-

щины мочатся стоя, тогда как мужчины – присев. Где в знак дружбы посылают немного своей крови и жгут благовония, словно в честь богов, перед людьми, которым желают воздать почет. Где в браках не допускают родства, и не только до четвертой степени, но и до любой, сколь бы далекой она ни была. Где детей кормят грудью целых четыре года, а часто и до двенадцати лет; но там же считают смертельно опасным для любого ребенка дать ему грудь в первый день после рождения. Где отцам надлежит наказывать мальчиков, предоставляя наказание девочек матерям; наказание же у них состоит в том, что провинившегося слегка подкапчивают, подвесив за ноги над очагом. Где женщин подвергают обрезанию. Где едят без разбору все произрастающие у них травы, кроме тех, которые кажутся им дурно пахнущими. Где все постоянно открыто, и дома, какими бы красивыми и богатыми они ни были, не имеют никаких засовов, и в них не найти сундука, который запирался бы на замок; для вора же у них наказания вдвое строже, чем где бы то ни было. Где вшей щелкают зубами, как это делают обезьяны, и находят отвратительным, если кто-нибудь раздавит их ногтем. Где ни разу в жизни не стригут ни волос, ни ногтей; в других местах стригут ногти только на правой руке, на левой же их отращивают красоты ради. Где отпускают волосы, как бы они ни выросли, с правой стороны и бреют их с левой. А в землях, находящихся по соседству, в одной – отращивают волосы спереди, в другой, наоборот, – сзади, а спереди бреют. Где отцы предоставляют своих детей, а мужья жен на утеху гостям, получая за это плату. Где не считают постыдным иметь детей от собственной матери; у них же в порядке вещей, если отец сожительствует с дочерью или сыном. Где на торжественных праздниках обмениваются на утеху друг другу своими детьми.

Здесь питаются человеческим мясом, там почтительный сын обязан убить отца, достигшего известного возраста; еще где-нибудь отцы решают участь ребенка, пока он еще во чреве матери, – сохранить ли ему жизнь и воспитать его или, напротив, покинуть без присмотра и убить; еще в каком-нибудь месте мужья престарелого возраста предлагают юношам своих жен, чтобы те услужили им; бывает и так, что жены считаются общими, и в этом никто не усматривает греха; есть даже такая страна, где женщины носят на подоле одежды в качестве почетного знака отличия столько нарядных кисточек с бахромой, скольких мужчин они познали за свою жизнь. Не обычай ли породил особое женское государство? Не он ли вложил в руки женщины оружие? Не он ли образовал из них батальоны и повел их в бой? И чего не в силах втемешить в мудрейшие головы философия, не внушает ли обычай своей властью самому темному простолюдину? Ведь мы знаем о существовании целых народов, которые не только с презрением относятся к смерти, но встречают ее даже с радостью, народов, у которых семилетние дети дают засечь себя насмерть, не меняясь даже в лице; где богатством гнушаются до того, что самый обездоленный горожанин счел бы ниже своего достоинства протянуть руку, чтобы поднять кошелек, полный золота. Нам известны также чрезвычайно плодородные и обильные всякими съестными припасами области, где тем не менее обычной и самой лакомой пищей считают хлеб, дикий салат и воду.

Не обычай ли сотворил чудо на острове Хиосе, где за целых семьсот лет не запомнили случая нарушения какой-нибудь женщиной или девушкой своей чести?

Короче говоря, насколько я могу представить себе, нет ничего, чего бы он не творил, ничего, чего бы не мог сотворить; и если Пиндар, как мне сообщили, назвал его «царем и повелителем мира», то он имел для этого все основания.

Некто, застигнутый на том, что избивал собственного отца, ответил, что таков обычай, принятый в их роду; что отец его также, бывало, поколачивал деда, а дед, в свою очередь, прадеда; и указывая на своего сына, добавил: «А этот, достигнув возраста, в котором ныне я нахожусь, будет делать то же самое со мною».

И когда сын, схватив отца, тащил его за собой по улице, тот велел ему остановиться у некоей двери, ибо он сам, по его словам, никогда не волочил своего отца дальше; здесь проходила черта, за которую дети, руководствуясь унаследованным семейным обычаем, никогда не

тащили своих отцов, подвергая их поношению. По обычаю, не менее часто, чем из-за болезни, говорит Аристотель, женщины вырывают у себя волосы, грызут ногти, поедают уголь и землю; и скорее опять-таки в силу укоренившегося обычая, чем следуя естественной склонности, мужчины сожительствуют с мужчинами.

Нравственные законы, о которых принято говорить, что они порождены самой природой, порождаются в действительности тем же обычаем; всякий, почитая в душе общераспространенные и всеми одобряемые воззрения и нравы, не может отказаться от них так, чтобы его не корила совесть, или, следуя им, не воздавать себе похвалы.

Жители Крита в прежние времена, желая подвергнуть кого-либо проклятию, молили богов, чтобы те наслали на него какую-нибудь дурную привычку.

Но могущество привычки особенно явственно наблюдается в следующем: она связывает нас в такой мере и настолько подчиняет себе, что лишь с огромным трудом удастся нам избавиться от ее власти и вернуть себе независимость, необходимую для того, чтобы рассмотреть и обсудить ее предписания. В самом деле, поскольку мы впитываем их вместе с молоком матери и так как мир предстает перед нами с первого же нашего взгляда таким, каким он ими изображается, нам кажется, будто мы самым своим рождением предназначены идти тем же путем. И поскольку эти общераспространенные представления, которые разделяют все вокруг, усвоены нами вместе с семенем наших отцов, они кажутся нам всеобщими и естественными.

Отсюда и происходит, что все отклонения от обычая считаются отклонениями от разума, – и одному Богу известно, насколько по большей части неразумно. Если бы и другие изучали себя, как мы, и делали то же, что мы, всякий, услышав какое-нибудь мудрое изречение, постарался бы немедленно разобраться, в какой мере оно применимо к нему самому, – и тогда он понял бы, что это не только меткое слово, но и меткий удар бича по глупости его обычных суждений. Но эти советы и предписания истины всякий желает воспринимать как обращенные к людям вообще, а не лично к нему; и, вместо того чтобы применить их к собственным нравам, их складывают у себя в памяти, а это – занятие весьма нелепое и бесполезное. Вернемся, однако, к тирании обычая.

Народы, воспитанные в свободе и привыкшие сами править собою, считают всякий иной образ правления чем-то противоестественным и чудовищным. Те, которые привыкли к монархии, поступают ничуть не иначе. И какой бы удобный случай к изменению государственного порядка ни предоставила им судьба, они даже тогда, когда с величайшим трудом отделались от какого-нибудь независимого государя, торопятся посадить на его место другого, ибо не могут решиться возненавидеть порабощение.

Дарий как-то спросил нескольких греков, за какую награду они согласились бы усвоить обычай индусов поедать своих покойных отцов (ибо это было принято между теми, поскольку они считали, что нет лучшего погребения, как внутри своих близких): греки на это ответили, что ни за какие блага на свете. Но когда Дарий попытался убедить индусов отказаться от их способа погребения и перенять греческий способ, состоявший в сжигании на костре умерших отцов, он привел их в еще больший ужас, чем греков. И всякий из нас делает то же, ибо привычка заслоняет собою подлинный облик вещей;

Nil adeo magnum, nec tam mirabile quicquam  
Principio, quod non minuant mirarier omnes  
Paulatim<sup>48</sup>.

Некогда, желая укрепить одно наше довольно распространенное мнение, считаемое многими непререкаемым, и не довольствуясь, как это делается обычно, простой ссылкой на законы

<sup>48</sup> Все, великое и дивное на первый взгляд, со временем вызывает меньшее изумление (*лат.*). Лукреций, II, 1028 сл.

и на соответствующие примеры, но стремясь, как всегда, добраться до самого корня, я нашел его основание до такой степени шатким, что едва сам не отрекся от него, – и это я, который ставил своей задачей убедить в его правильности других.

Вот тот способ, который Платон, добиваясь искоренения противоестественных видов любви, пользовавшихся в его время распространением, считает всемогущим и основным: добиться, чтобы общественное мнение решительно осудило их, чтобы поэты клеймили их, чтобы каждый их высмеивал. Именно этому способу мы обязаны тем, что самые красивые дочери не возбуждают больше страсти в отцах, а братья, какой бы они выдающейся красотой ни отличались, – в сестрах; и даже сказания о Фиесте, Эдипе и Макарее наряду с удовольствием, доставляемым декламацией этих прекрасных стихов, закрепляют, по мнению Платона, в податливом детском мозгу это полезное предостережение.

Надо правду сказать, целомудрие – прекрасная добродетель, и как велика его польза известно всякому; однако прививать целомудрие и принуждать блюсти его, опираясь на природу, столь же трудно, сколь легко добиться его соблюдения, опираясь на обычаи, законы и предписания. Обосновать изначальные и всеобщие истины не так-то просто. И наши наставники, скользя по верхам, торопятся поскорее подальше или, даже не осмеливаясь коснуться этих вопросов, сразу же ищут прибежища под сенью обычая, где пыжаты от преисполняющего их чванства и торжествуют. Те же, кто не желает черпать ниоткуда, кроме первоисточника, т. е. природы, впадают в еще большие заблуждения и высказывают дикие взгляды, как, например, Хрисипп, во многих местах своих сочинений показавший, с какой снисходительностью он относился к кровосмесительным связям, какими бы они ни были. Кто пожелает отделаться от всесильных предрассудков обычая, тот обнаружит немало вещей, которые как будто и не вызывают сомнений, но вместе с тем и не имеют иной опоры, как только морщины и седина давно укоренившихся представлений. Сорвав же с подобных вещей эту личину и сопоставив их с истиною и разумом, такой человек почувствует, что, хотя прежние суждения его и полетели кувырком, все же почва под ногами у него стала тверже. И тогда, например, я спрошу у него: возможно ли что-нибудь удивительнее того, что мы постоянно видим перед собой, а именно, что целый народ должен подчиняться законам, которые были всегда для него загадкою, что во всех своих семейных делах, браках, дарственных, завещаниях, в купле, в продаже он связан правилами, которых не в состоянии знать, поскольку они составлены и опубликованы не на его языке, вследствие чего истолкование и должное применение их он принужден покупать за деньги? Все это ни в малой степени не похоже на остроумное предложение Исократы, советующего своему государю обеспечить возможность подданным свободно, прибыльно и беспрепятственно торговать, но вместе с тем сделать для них разорительными, обложив высокой пошлиной, ссоры и распри, и вполне согласуется с теми чудовищными воззрениями, согласно которым даже человеческий разум и тот является предметом торговли, а законы – рыночным товаром. И я бесконечно благодарен судьбе, что первым, как сообщают наши историки, кто воспротивился намерению Карла Великого ввести у нас римское и имперское право, был некий дворянин из Гаскони, мой земляк. Есть ли что-нибудь более дикое, чем видеть народ, у которого на основании освященного законом обычая судебные должности продаются, а приговоры оплачиваются звонкой монетой; где опять-таки совершенно законно отказывают в правосудии тем, кому нечем заплатить за него; где эта торговля приобретает такие размеры, что создает в государстве в добавление к трем прежним сословиям – церкви, дворянству и простому народу – еще и четвертое, состоящее из тех, в чьем ведении находится суд; это последнее, имея попечение о законах и самовластно распоряжаясь жизнью и имуществом граждан, является наряду с дворянством некоей обособленной корпорацией. Отсюда и возникает два рода законов, противоречащих во многом друг другу: законы чести и те, на которых покоится правосудие. Первые, например, сурово осуждают того, кто, будучи обвинен во лжи, стерпит подобное обвинение, тогда как вторые – отмщающего за него. По законам рыцарского оружия такой-то, если

снесет оскорбление, лишается чести и дворянского достоинства, тогда как по гражданским законам тот, кто мстит, подлежит уголовному наказанию. Значит, тот, кто обратится к закону, дабы защитить свою оскорбленную честь, обещивает себя, а кто не обратится к нему, того закон преследует и карает. И разве действительно не является величайшею дикостью, что из этих двух столь различных сословий, подчиненных, однако, одному и тому же властителю, одно заботится о войне, другое печется о мире; удел одного – выгода, удел другого – честь; удел одного – ученость, удел другого – доблесть; у одного – слово, у другого – дело; у одного – справедливость, у другого – отвага; у одного – разум, у другого – сила; у одного – долгополая мантия, у другого – короткий камзол.

Что до вещей менее важных, как, например, нашего платья, то тому, кто вздумал бы согласовать его с подлинным его назначением, а именно – служить нашему телу и доставлять ему возможно больше удобств, – что и определило изящество и благопристойность одежды при ее появлении, – я укажу лишь на самое что ни на есть чудовищное из того, что, по-моему, можно представить себе, и среди прочего на наши квадратные головные уборы, на этот длинный, свисающий с головы наших женщин хвост из собранного складками бархата, расшитого к тому же пестрыми украшениями, и наконец, на нелепое и бесполезное подобие того органа, назвать который мы не можем, не нарушая приличия, и воспроизведение которого, да еще во всем блеске наряда, показываем тем не менее всему честному народу. Эти соображения не отвращают, однако, разумного человека от следования общепринятой моде; более того, хотя мне и кажется, что все выдумки и причуды в покрое нашего платья порождены скорее сумасбродством и спесью, чем действительной целесообразностью, и что мудрец должен внутренне оберегать свою душу от всякого гнета, дабы сохранить ей свободу и возможность свободно судить обо всем, – тем не менее, когда дело идет о внешнем, он вынужден строго придерживаться принятых правил и форм. Обществу нет ни малейшего дела до наших воззрений; но все остальное, как то: нашу деятельность, наши труды, наше состояние и самую жизнь, надлежит предоставить ему на службу, а также на суд, как и поступил мужественный и великий Сократ, отказавшийся спасти свою жизнь лишь на том основании, что это явилось бы неповиновением власти, пусть даже весьма несправедливой и пристрастной. Ибо правило правил и главнейший закон законов заключается в том, что всякий обязан повиноваться законам страны, в которой живет:

Νῶμοις ἐπεσθαι τοῖσιν ἐγχωρίοις καλόν<sup>49</sup>.

А вот кое-что в ином роде. Весьма сомнительно, может ли изменение действующего закона, каков бы он ни был, принести столь очевидную пользу, чтобы перевесить то зло, которое возникает, если его потревожить; ведь государство можно в некоторых отношениях уподобить строению, сложенному из отдельных, связанных между собой частей, вследствие чего нельзя хоть немного поколебать даже одну среди них без того, чтобы это не отразилось на целом. Законодатель фурийцев велел, чтобы всякий, стремящийся уничтожить какой-нибудь из старых законов или ввести в действие новый, выходил пред народом с веревкой на шее с тем, чтобы, если предлагаемое им новшество не найдет единогласного одобрения, быть удавленным тут же на месте. А законодатель лакедемонян посвятил всю свою жизнь тому, чтобы добиться от сограждан твердого обещания не отменять ни одного из его предписаний. Эфор, так безжалостно оборвавший две новые струны, добавленные Фринисом к его музыкальному инструменту, не задавался вопросом, улучшил ли Фринис свой инструмент и обогатил ли его аккорды; для осуждения этого новшества ему было достаточно и того, что старый, привыч-

<sup>49</sup> Прекрасно повиноваться законам своей страны (греч.). Сборник афоризмов XVI века.

ный образец претерпел изменение; то же обозначал и древний заржавленный меч правосудия, который бережно хранился в Марселе.

Я разочаровался во всяческих новшествах, в каком бы обличье они нам ни являлись, и имею все основания для этого, ибо видел, сколь гибельные последствия они вызывают. То из них, которое угнетает нас в течение уже стольких лет, не было, правда, непосредственной причиною всего происходящего; но тем не менее можно с уверенностью сказать, что именно в нем, в силу несчастного стечения обстоятельств, причина и корень всего, даже тех бедствий и ужасов, которые творятся с тех пор без и помимо его участия. Пусть оно пеняет поэтому на себя самого.

Heu! patior telis vulnera facta meis<sup>50</sup>.

Те, кто расшатывает государственный строй, чаще всего первыми и гибнут при его крушении. Плоды смуты никогда не достаются тому, кто ее вызвал; он только всколыхнул и замутил воду, а ловить рыбу будут уже другие. Так как целостность и единство нашей монархии были нарушены упомянутым новшеством, и ее величественное здание расшаталось и начало разрушаться, и так как это произошло к тому же в ее преклонные годы, в ней образовалось сколько угодно трещин и брешей, представляющих собою как бы ворота для названных бедствий. Величие государя, говорит некий древний писатель, труднее низвести от его вершины до половины, чем низвергнуть от половины до основания.

Но если зачинатели и приносят больше вреда, нежели подражатели, то последние все же преступнее первых, следуя образцам, зло и ужас которых сами ощутили и покарали. И если даже злодеяния приносят известную долю славы, то у первых перед вторыми то преимущество, что самый замысел и дерзость почина принадлежат именно им.

Все виды новейших бесчинств с легкостью черпают образцы и наставления, как потрясать государственный строй, из этого главнейшего и неиссякаемого источника. Даже в наших законах, созданных с целью пресечения этого изначального зла, и то можно найти наставления, как творить злодеяния всякого рода, и попытки оправдания их. С нами происходит теперь то самое, о чем говорит Фукидид, повествуя о гражданских войнах своего времени; тогда, угождая порокам общества и пытаясь найти для них оправдание, давали им не их подлинные названия, но, искажая и смягчая последние, обозначали словами новыми и менее резкими. И таким-то способом хотят подействовать на вашу совесть и исправить наши взгляды! *Honesta ratio est*<sup>51</sup>. Однако как бы благовиден ни был предлог, все же всякое новшество чревато опасностями: *adeo nihil motum ex antiquo probabile est*<sup>52</sup>. По правде говоря, мне представляется чрезмерным самолюбием и величайшим самомнением ставить свои взгляды до такой степени высоко, чтобы ради их торжества не останавливаться пред нарушением общественного спокойствия, пред столькими неизбежными бедствиями и ужасающим падением нравов, которые приносят с собой гражданские войны, пред изменениями в государственном строе, что влечет за собой столь значительные последствия, — да еще делать все это в своей собственной стране. И не просчитывается ли тот, кто дает волю этим явным и всем известным порокам, дабы искоренить недостатки, в сущности спорные и сомнительные? И есть ли пороки худшие, нежели те, которые нестерпимы для собственной совести и для здравого смысла?

Римский сенат в разгар распри с народом по поводу распределения жреческих должностей решился прибегнуть к уловке такого рода: *Ad deos id magis quam ad se, pertinere: ipsos*

<sup>50</sup> Увы! Я страдаю от ран, нанесенных моим же оружием (лат.). Овидий. *Героиды*, II, 48.

<sup>51</sup> Благовидный предлог (лат.). Теренций. *Девушка с Андроса*, 141.

<sup>52</sup> Нельзя одобрить отклонение от старины (лат.). Тит Ливий, XXXIV, 54.



visuros ne sacra sua pollutantur<sup>53</sup>, – подражая в этом ответу оракула жителям Дельф во время греко-персидских войн. Опасаясь вторжения персов, дельфийцы обратились тогда к Аполлону с вопросом, что им делать со святынями его храма – укрыть ли их где-нибудь или же вывезти. Он ответил на это, чтобы они ничего не трогали: пусть они заботятся о себе, а он уже сам сумеет охранить свою собственность.

Христианская религия обладает всеми признаками наиболее справедливого и полезного вероучения, но ничто не свидетельствует об этом в такой мере, как выраженное в ней с полной определенностью требование повиноваться властям и поддерживать существующий государственный строй. Какой поразительный пример оставила нам премудрость Господня, которая, стремясь спасти род человеческий и осуществить свою славную победу над смертью и над грехом, пожелала свершить это не иначе как опираясь на наше общественное устройство и поставив достижение и осуществление этой великой и благостной цели в зависимость от слепоты и несправедности наших обычаев и воззрений, допустив, таким образом, чтобы лилась невинная кровь столь многих возлюбленных чад ее и мирясь с потерей длинной чреды годов, пока не созреет этот бесценный плод.

Между подчиняющимся обычаям и законам своей страны и тем, кто норовит подняться над ними и сменить их на новые, – целая пропасть. Первый ссылается в свое оправдание на простосердечие, покорность, а также на пример других; что бы ни довелось ему сделать, это не будет намеренным злом, в худшем случае – лишь несчастием. *Quis est enim quem non moveat clarissimis monumentis tes-tata consignataque antiquitas?*<sup>54</sup>

Сверх того, как говорит Исократ, недобор ближе к умеренности, чем перебор. Второй оправдывать гораздо труднее.

Ибо, кто берется выбирать и вносить изменения, тот присваивает себе право судить и должен поэтому быть твердо уверен в ошибочности отменяемого им и в полезности им вводимого. Это столь нехитрое соображение и заставило меня засесть у себя в углу; даже во времена моей юности – а она была много дерзостнее – я поставил себе за правило не взваливать на свои плечи непосильной для меня ноши, не брать на себя ответственности за решения столь исключительной важности, не осмеливаться на то, на что я не мог бы осмелиться, рассуждая здраво, даже в наиболее простом из того, чему меня обучали, хотя смелость суждений в последнем случае и не могла бы ничему повредить. Мне кажется в высшей степени несправедливым стремление подчинить отстоявшиеся общественные правила и учреждения непостоянству частного произвола (ибо частный разум обладает лишь частной юрисдикцией) и тем более предпринимать против законов божеских то, чего не потерпела бы ни одна власть на свете в отношении законов гражданских, которые, хотя и более доступны уму человеческому, все же являются верховными судьями своих судей; самое большее, на что мы способны, это объяснять и распространять применение уже принятого, но отнюдь не отменять его и заменять новым. Если божественное провидение и преступало порою правила, которыми оно по необходимости поставило нам пределы, то вовсе не для того, чтобы освободить и нас от подчинения им. Это мановения его божественной длани, и не подражать им, но проникаться изумлением перед ними, вот что должно нам делать: это случаи исключительные, отмеченные печатью ясно выраженного особого умысла, из разряда чудес, являемых нам как свидетельство его всемогущества и превышающих наши силы и наши возможности; было бы безумием и кощунством тщиться воспроизвести что-либо подобное, – и мы должны не следовать им, но с трепетом созерцать их. Это деяния, доступные божеству, но не нам.

<sup>53</sup> Это больше касается богов, чем их, пусть сами боги заботятся, чтобы их святыни не были осквернены (*лат.*). Тит Ливий, X, 6.

<sup>54</sup> На кого не произведет впечатление древность, запечатленная в стольких славнейших памятниках? (*лат.*)

Здесь весьма уместно привести слова Котты: Cum de religione agitur T. Coruncanium, P. Scipionem, P. Scaevolam, pontifices maximos, non Zenonem aut Cleanthem aut Chrysippum, sequor.

В настоящее время мы охвачены распрей: речь идет о том, чтобы убрать и заменить новыми целую сотню догматов, и каких важных и значительных догматов; а много ли найдется таких, которые могли бы похвастаться, что им досконально известны доводы и основания как той, так и другой стороны? Число их окажется столь незначительным – если только это и впрямь можно назвать числом, – что они не могли бы вызвать между нами смятения. Но все остальное скопище – куда несется оно? Под каким знаменем устремляются вперед нападающие? Здесь происходит то же, что с иным слабым и неудачно примененным лекарством; те вредные соки организма, которые ему надлежало бы изгнать, оно на самом деле, столкнувшись с ними, только разгорячило, усилило и раздражило, а затем, сотворив все эти беды, осталось бродить в нашем теле. Оно не смогло освободить нас от болезни из-за своей слабости и вместе с тем ослабило нас настолько, что мы не в состоянии очиститься от него; действие его сказывается лишь в том, что нас мучат нескончаемые боли во внутренностях.

Бывает, однако, и так, что судьба, могущество которой всегда превосходит наше предвидение, ставит нас в настолько тяжелое положение, что законам приходится несколько и кое в чем уступить. И если, сопротивляясь возрастанию нового, стремящегося насильственно пробить себе путь, держать себя всегда и во всем в узде и строго соблюдать установленные правила, то подобное самоограничение в борьбе с тем, кто обладает свободой действий, для кого допустимо решительно все, лишь бы оно шло на пользу его намерениям, кто не знает ни другого закона, ни других побуждений, кроме тех, что сулят ему выгоду, неправильно и опасно: Aditum nocendi perfido praestat fides<sup>55</sup>. Но ведь обычный правопорядок в государстве, пребывающем в полном здравии, не предусматривает подобных исключительных случаев: он имеет в виду упорядоченное сообщество, опирающееся на свои основные устои и выполняющее свои обязанности, а также согласие всех соблюдать его и повиноваться ему. Действовать, придерживаясь закона, значит – действовать спокойно, размеренно, сдержанно, а это вовсе не то, что требуется в борьбе с действиями бесчинными и необузданными.

Известно, что и посейчас еще упрекают двух великих государственных деятелей, Октавия и Катона, за то, что первый во время гражданской войны с Суллою, а второй – с Цезарем готовы были скорее подвергнуть свое отечество самым крайним опасностям, чем оказать ему помощь, нарушив законы, и ни за что не соглашались хоть в чем-нибудь поколебать эти последние. Но в случаях крайней необходимости, когда все заключается в том, чтобы как-нибудь устоять, иной раз и впрямь благоразумнее опустить голову и стерпеть удар, чем биться сверх сил, не желая ни в чем уступить и доставляя возможность насилию подмять все под себя и попортить его. И пусть лучше законы домогаются лишь того, что им под силу, когда им не под силу все то, чего они домогаются. Так, например, поступил тот, кто приказал, чтобы они заснули на двадцать четыре часа, и таким образом урезал на этот раз календарь на один день, и тот, кто превратил июнь во второй май. Даже лакедемоняне, которые с таким усердием соблюдали законы своей страны, как-то раз, будучи связаны одним из своих законов, воспрещавшим вторичное избрание начальником флота того же лица, – а между тем обстоятельства настоятельно требовали от них, чтобы эту должность снова занял Лисандр, – нашли выход в том, что поставили начальником флота Арака, а Лисандра назначили «главным распорядителем» морских сил. Подобной же уловкой воспользовался один их посол, который был направлен ими к афинянам с тем, чтобы добиться отмены какого-то изданного этими последними распоряжения. Когда Перикл в ответ сослался на то, что строжайшим образом запрещается убирать доску, на которой начертан какой-нибудь закон, посол предложил повернуть доску обратной стороной, так как это, во всяком случае, не запрещается. Это то, наконец, за что Плутарх воз-

<sup>55</sup> Доверие предоставляет изменнику возможность вредить (лат.). Сенека. *Эдит*, 686.

дает хвалу Филопемени: рожденный повелевать, он умел повелевать не только согласно с законами, но в случае общественной необходимости и самими законами.

## *Глава XXVI*

### **О воспитании детей**

Госпоже Диане де Фуа, графине де Гюрсон.

Я не видел такого отца, который признал бы, что сын его запаршивел или горбат, хотя бы это и было очевидною истиной. И не потому – если только его не ослепило окончательно отцовское чувство – чтобы он не замечал этих недостатков, но потому, что это его собственный сын. Так и я; ведь я вижу лучше, чем кто-либо другой, что эти строки – не что иное, как измышление человека, отведавшего только вершков науки, да и то лишь в детские годы, и сохранившего в памяти только самое общее и весьма смутное представление об ее облике: капельку того, чуточку этого, а в общем почти ничего, как водится у французов. В самом деле, я знаю, например, о существовании медицины, юриспруденции, четырех частей математики, а также, весьма приблизительно, в чем именно состоит их предмет. Я знаю еще, что науки, вообще говоря, притязают на служение человечеству. Но углубиться в их дебри, грызть себе ногти за изучением Аристотеля, властителя современной науки, или уйти с головою в какую-нибудь из ее отраслей, этого со мною никогда не бывало; и нет такого предмета школьного обучения, начатки которого я в состоянии был бы изложить. Вы не найдете ребенка в средних классах училища, который не был бы вправе сказать, что он образованнее меня, ибо я не мог бы подвергнуть его экзамену даже по первому из данных ему уроков; во всяком случае, это зависело бы от содержания такового. Если бы меня все же принудили к этому, то, не имея иного выбора, я выбрал бы из такого урока, и притом очень неловко, какие-нибудь самые общие места, чтобы на них проверить умственные способности ученика, – испытание для него столь же неведомое, как его урок для меня.

Я не знаю по-настоящему ни одной основательной книги, если не считать Плутарха и Сенеки, из которых я черпаю, как Данаиды, непрерывно наполняясь и изливая из себя полученное от них. Кое-что оттуда попало и на эти страницы; во мне же осталось так мало, что, можно сказать, почти ничего.

История – та дает мне больше поживы; также и поэзия, к которой я питаю особую склонность. Ибо, как говорил Клеанф, подобно тому как голос, сжатый в узком канале трубы, вырывается из нее более могучим и резким, так, мне кажется, и наша мысль, будучи стеснена различными поэтическими размерами, устремляется гораздо порывистее и потрясает меня с большей силой. Что до моих природных способностей, образчиком которых являются эти строки, то я чувствую, как они изнемогают под бременем этой задачи. Мой ум и мысль бредут ошупью, пошатываясь и спотыкаясь, и даже тогда, когда мне удастся достигнуть пределов, дальше которых мне не пойти, я никоим образом не бываю удовлетворен достигнутым мною; я всегда вижу перед собой неизведанные просторы, но вижу смутно и как бы в тумане, которого не в силах рассеять. И когда я принимаюсь рассуждать без разбора обо всем, что только приходит мне в голову, не прибегая к сторонней помощи и полагаясь только на свою сообразительность, то, если при этом мне случается – а это бывает не так уж редко – встретить, на мое счастье, у кого-нибудь из хороших писателей те самые мысли, которые я имел намерение развить (так было, например, совсем недавно с рассуждением Плутарха о силе нашего воображения), я начинаю понимать, насколько, по сравнению с такими людьми, я ничтожен и слаб, тяжеловесен и вял, – и тогда я проникаюсь жалостью и презрением к самому себе. Но в то же время я и поздравляю себя, ибо вижу, что мои мнения имеют честь совпадать иной раз с их мнениями и что они подтверждают, пусть издалека, их правильность. Меня радует также и то, что я сознаю – а это не всякий может сказать про себя, – какая пропасть лежит между ними и мною. И все

же, несмотря ни на что, я не задумываюсь предать гласности эти мои измышления, сколь бы слабыми и недостойными они ни были, и притом в том самом виде, в каком я их создал, не ставя на них заплат и не подштопывая пробелов, которые открыло мне это сравнение. Нужно иметь достаточно крепкие ноги, чтобы пытаться идти бок о бок с такими людьми. Пустоголовые писаки нашего века, вставляя в свои ничтожные сочинения чуть ли не целые разделы из древних писателей, дабы таким способом прославить себя, достигают совершенно обратного. Ибо столь резкое различие в яркости делает принадлежащее их перу до такой степени тусклым, вялым и уродливым, что они теряют от этого гораздо больше, чем выигрывают.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.